

Я умею прыгать через лужи

Автор:

Алан Маршалл

Я умею прыгать через лужи

Алан Маршалл

До шестнадцати и старше

Алан всегда хотел пойти по стопам своего отца и стать объездчиком диких лошадей. Но в шесть лет коварная болезнь полиомиелит поставила крест на его мечте. Бесконечные больницы, обследования и неутешительный диагноз врачей – он никогда больше не сможет ходить, не то что держаться в седле. Для всех жителей их небольшого австралийского городка это прозвучало как приговор. Для всех, кроме самого Алана.

Он решает, что ничто не помешает ему вести нормальную мальчишескую жизнь: охотиться на кроликов, лазать по деревьям, драться с одноклассниками, плавать. Быть со всеми на равных, пусть даже на костылях. С каждым новым достижением Алан поднимает планку все выше и верит, что однажды сможет совершить и самое невероятное – научиться ездить верхом и стать писателем.

Алан Маршалл

Я умею прыгать через лужи

Посвящается моим дочерям, Гепзибе и Дженнифер, которые тоже умеют прыгать через лужи

Серия «До шестнадцати и старше»

Alan Marshall

I CAN JUMP PUDDLES

Перевод с английского М. Прокопьевой

Печатается с разрешения Penguin Random House Australia Pty Ltd и литературного агентства Andrew Nurnberg.

© Alan Marshall, 1955

© Перевод. М. Прокопьева, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Предисловие

Эта книга – история моего детства. На ее страницах я описал людей, места и события, сделавшие меня тем, кто я есть.

Но я хотел не просто законспектировать опыт маленького мальчика, преодолевающего проблемы на костылях. Я также хотел дать представление об ушедшей эпохе. Описанные здесь люди были сформированы той эпохой, и их время тоже проходит. Влияния, сделавшие их самодостаточными, прямолинейными и полными сострадания, уступили место влияниям, которые могут формировать характеры не хуже, но изменились лекала и результат

совсем иной.

Чтобы представить картину жизни той эпохи, я вышел за пределы фактов в поисках истины. Иногда я менял сцены, обобщал персонажей, когда это было необходимо, менял последовательность событий, чтобы сохранить целостность текста, и вводил диалог, который тем, кто пережил со мной те лошадиные дни, может показаться странным.

Я прошу за это прощения. Фактов не всегда достаточно для подобной книги, и правду, на которую она стремится пролить свет, можно обнаружить лишь с помощью воображения.

Алан Маршалл

Глава первая

В ожидании повитухи, которая должна была помочь мне появиться на свет, моя мать лежала в маленькой комнатке на парадной половине нашего обшитого деревянной доской дома и смотрела в окно, за которым виднелись качавшиеся на ветру эвкалипты, зеленый холм и тени облаков, круживших над пастбищами.

– У нас будет сын, – сказала она моему отцу. – Сегодня мужской день.

Наклонившись, отец глянул в окно, где за расчищенными пастбищами высилась темно-зеленая стена леса.

– Я сделаю из него бегуна и наездника, – решительно заявил он. – Клянусь Богом, сделаю!

Когда наконец появилась повитуха, он улыбнулся ей и сказал:

– Знаете, миссис Торренс, я уж думал, мальчуган тут всю бегать будет, прежде чем вы до нас доберетесь.

– Да, я собиралась приехать еще с полчаса назад, – резким тоном ответила миссис Торренс. Это была грузная женщина с пухлыми смуглыми щеками и решительной манерой поведения. – Но когда настало время запрягать лошадь, Тед все еще смазывал бричку. – Она перевела взгляд на мою мать. – Ну, как вы себя чувствуете, милочка? Схватки уже начались?

«И пока она со мной говорила, – рассказывала мне потом мать, – я вдыхала аромат сделанной из акации рукоятки хлыста, висевшего в изножье кровати, – это был хлыст твоего отца, – и представляла, как ты мчишься галопом и размахиваешь им над головой, совсем как твой отец».

В ожидании моего появления на свет отец сидел на кухне с моими сестрами, Мэри и Джейн. Сестры мечтали иметь братика, которого они будут водить в школу, и отец обещал им братика по имени Алан.

Миссис Торренс вынесла меня, завернутого в красную фланелевую пеленку, чтобы показать им, и положила отцу на руки.

– Странные я тогда испытал чувства, – рассказывал он. – У меня сын... Я хотел, чтобы ты многому научился – ездить верхом, хорошо управляться с лошадьми... ну и все такое. И бегать, конечно, тоже... Говорили, что ноги у тебя крепкие. Вот о чем я тогда думал. Так странно было держать тебя на руках. Я все гадал, будешь ли ты похож на меня.

Вскоре после того как я пошел в школу, я заболел детским параличом. Эпидемия, в девятисотые годы вспыхнувшая в Виктории, из более плотно населенных областей добралась и до глубинки, поражая детей на отдаленных фермах и в поселениях в буше[1 - Буш – обширные малонаселенные земли в Австралии, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями.]. В Туралле я был ее единственной жертвой, и люди на много миль вокруг, услышав о моей болезни, приходили в ужас. Слово «паралич» в их сознании почему-то было связано с идиотизмом, и нередко кто-нибудь, остановив двуколку посреди дороги и перегнувшись через колесо, чтобы перекинуться парой слов со знакомым, спрашивал: «А умом-то он не повредился, не знаешь?»

На протяжении нескольких недель соседи старались поскорее проскочить мимо нашего дома, украдкой бросая при этом беспокойные, исполненные затаенного

любопытства взгляды на старый деревянный забор, на необъезженных жеребчиков в загоне и мой трехколесный велосипед, валявшийся возле сарая. Теперь они раньше загоняли детей в дом с улицы, теплее кутали их и с тревогой присматривались к ним, стоило тем разок кашлянуть или чихнуть.

– Это обрушивается на тебя, словно кара Божья, – говорил мистер Картер, пекарь, искренне веривший, что так и есть на самом деле. Он был директором воскресной школы и однажды во время еженедельных объявлений, строго глядя на учеников, заявил:

– В следующее воскресенье во время службы преподобный Уолтер Робертсон, бакалавр искусств, будет молиться о скорейшем выздоровлении этого храброго мальчика, пораженного ужасной болезнью. Присутствие всех обязательно.

Прознав об этих его словах, отец подошел как-то на улице к мистеру Картеру и, нервно теребя свои рыжеватые усы, принялся объяснять, как я умудрился подхватить такую болезнь.

– Говорят, микроб просто вдыхаешь, – сказал он. – Он просто носится в воздухе – повсюду. И никогда не знаешь, где он. Наверное, он пролетал мимо носа Алана, когда тот делал вдох, и все, конец. Упал как подкошенный. Если бы в то время, когда микроб пролетал мимо, мой сын выдыхал, то ничего бы и не случилось. – Отец помолчал и грустно добавил: – А вы теперь за него молитесь.

– Спина создана для ноши, – с набожным видом изрек пекарь.

Будучи старейшиной церкви, он видел в этом несчастье длань Господню. А вот в большинстве вещей, которые доставляли людям радость, он подозревал проделки дьявола.

– Такова воля Божья, – с некоторой долей удовлетворения добавил он, будучи уверен, что подобное замечание понравится Всевышнему. Он всегда старался снискать расположение Господа.

Отец презрительно фыркнул в ответ на это философское замечание и раздраженно ответил:

– Спина этого мальчика не создана для ноши, и, позвольте заметить, не будет никакой ноши. Если где она и есть, то вот тут. – И он постучал загорелым пальцем себе по голове.

Позже, стоя возле моей кровати, он с беспокойством спросил:

– Алан, у тебя болят ноги?

– Нет, – сказал я. – Они как мертвые.

– Вот черт! – вскричал он, и лицо его исказилось мучительной гримасой.

Отец был худощавый, с кривыми ногами и узкими бедрами, – следствие многолетнего пребывания в седле, ведь он был объездчиком лошадей и приехал в Викторию из глуши Квинсленда.

– Все ради детей, – нередко повторял он. – Там, в глуши, школ-то нету. Честное слово, я сделал это ради детей, а иначе никогда бы оттуда не уехал.

У него было лицо типичного жителя австралийской глубинки, загорелое и обветренное; пронзительные голубые глаза поблескивали из сетки морщин, порожденных ослепительным солнцем солончаковых равнин.

Один его приятель, гуртовщик, как-то приехал проведать отца и, увидев, как тот идет по двору ему навстречу, воскликнул:

– Черт подери, Билл, да ты до сих пор вышагиваешь, как проклятый страус эму!

Походка отца была легкой и семенящей, и он всегда смотрел под ноги. Эту свою привычку он объяснял тем, что долгое время жил в «змеином краю».

Порой, немного выпив, он выезжал во двор на каком-нибудь не до конца объезженном норовистом жеребце, который под ним ходуном ходил, задевая кормушки, оглобли и старые поломанные колеса, разгоняя перепуганную домашнюю птицу, и во всю глотку вопил:

– Дикий скот без клейма! Пропади все пропадом! Эй, берегись!

Затем он осаживал коня и, резко сорвав с головы широкополую шляпу, размахивал ею, будто в ответ на аплодисменты, и отвешивал поклон в сторону двери в кухню, где обычно стояла мать, наблюдая за ним с едва заметной улыбкой – слегка насмешливой, любящей и немного тревожной.

Отец любил лошадей не потому, что этим зарабатывал на жизнь, а потому, что видел в них красоту. Ему доставляло удовольствие рассматривать хорошо сложенную лошадь. Он медленно обходил вокруг нее и, слегка наклонив голову, пристально разглядывал ее, проводя руками по передним ногам в поисках припухлостей или шрамов, говоривших о том, что ей приходилось падать.

– Лошадка должна быть с хорошими, крепкими костями, – говаривал он, – рослая и с длинным корпусом.

Он считал, что лошади во многом похожи на людей.

– Уж поверь мне, – говорил он. – Сколько раз я такое видел! К иным лошадям только хлыстом притронешься, как они сразу давай дуться. Совсем как дети... Дашь какому-нибудь проказнику затрещину, так он потом долго с тобой разговаривать не будет. Затаит обиду. Забыть не может, понимаешь? Вот и лошади, черт подери, такие же! Ударь такую кнутом, потом с ней хлопот не оберешься. Погляди на гнедую кобылу старика Коротышки Дика. Она тугоуздая. Но мне-то удалось с ней справиться. Вот видишь... Каков Коротышка, такова и лошадь. Кто пытался его обуздать, только себе навредил. Кстати, он мне до сих пор за ту работенку фунт должен. Ну да ладно... Что с него взять, ни гроша за душой.

Мой дед, рыжеволосый пастух из Йоркшира, прибыл в Австралию в начале сороковых годов прошлого века. Он женился на ирландской девушке, которая приехала в новую колонию в том же году. Говорят, дед вышел на пристань, когда причалил корабль с ирландскими девчонками, намеревавшимися устроиться в колонии прислугой.

– Кто из вас прямо сейчас пойдет за меня замуж? – крикнул он девушкам, толпившимся у поручней. – Кто готов попытаться со мной счастья?

Одна крепкая, синеглазая ирландка с черными волосами и большими руками задумчиво поглядела на него и ответила:

– Я согласна. Пойду за тебя.

Она перелезла через поручни, и он подхватил ее на пристани, взял ее узелок с вещами, положил руку ей на плечо, и они вместе пошли прочь.

Отец был младшим из четверых детей и унаследовал ирландский темперамент своей матери.

– Когда я был мальчишкой, – как-то рассказал мне он, – я угодил одному погонщику по голове колючей дыней, а ведь это опасное растение – если сок попадет в глаза, можно и ослепнуть. Ну, парень, конечно, рассвирепел и погнался за мной с дубиной. Я бросился к нашей хижине с воплем: «Мама!» Парень был вне себя от злости, зуб даю! Возле хижины он меня едва не настиг, но мама все видела и поджидала нас у двери, держа в руках котелок с крутым кипятком. «Назад, – крикнула она. – У меня тут кипяток. Только посмей подойти ближе, и я выплесну его тебе прямо в лицо». Это его, черт подери, остановило. Я вцепился в ее юбку, а она спокойно стояла и смотрела на парня, пока тот не убрался восвояси.

В двенадцать лет отец уже сам зарабатывал себе на жизнь. Все его образование сводилось к нескольким месяцам обучения с учителем-пьянчугой, которому дети, посещавшие дощатую лачужку, служившую школой, платили полкроны в неделю.

Начав работать, отец переходил с фермы на ферму, объезжая лошадей или перегоняя гурты. Отрочество и раннюю молодость он провел в глуши Нового Южного Уэльса и Квинсленда, которые потом являлись неисчерпаемой темой всех его бесконечных историй. Именно благодаря его рассказам солончаковые равнины и красные песчаные дюны этих диких краев были мне ближе, чем зеленые леса и поля, среди которых я родился и рос.

– Знаешь, есть что-то особенное в этих глухих местах, – как-то сказал он мне. – Там чувствуешь какое-то ни с чем не сравнимое удовлетворение. Заберешься на поросшую сосняком гору, разведешь костер...

Он замолчал и окинул меня беспокойным взглядом. А потом сказал:

– Надо будет что-нибудь придумать, чтобы там, в глуши, твои костыли не увязали в песке. Да, когда-нибудь мы с тобой обязательно туда доберемся.

Глава вторая

Вскоре после того как меня парализовало, мышцы в ногах начали усыхать, а спина, прежде прямая и крепкая, искривилась. Подколенные сухожилия затвердели и так стянули мне ноги, что те согнулись в коленях, и их уже невозможно было разогнуть.

Болезненное напряжение сухожилий под каждым коленом и убеждение, что если ноги в скором времени не распрямить, то они навсегда останутся в таком положении, беспокоили мою мать, и она постоянно донимала доктора Кроуфорда просьбами назначить какое-нибудь лечение, которое позволило бы мне подняться и снова начать ходить.

Доктор Кроуфорд плохо разбирался в детском параличе. Неодобрительно нахмурившись, он наблюдал за попытками моей матери оживить мне ноги, растирая их бренди и оливковым маслом, – по совету жены школьного учителя, утверждавшей, что таким способом она избавилась от ревматизма, – однако, проронив что-то вроде «это не повредит», отложил вопрос лечения моих неподвижных ног до тех пор, пока не выяснит, какие осложнения возникали у жертв болезни в Мельбурне.

Доктор Кроуфорд жил в Балунге, небольшом городке в четырех милях от нашего дома, а пациентов в глубинке навещал только в неотложных случаях. Он разъезжал в коляске с приподнятым верхом, запряженной серой лошадкой, трусившей рысцой. Его фигура выгодно выделялась на фоне голубой войлочной обивки, когда он раскланивался перед прохожими, помахивая хлыстом. Коляска приравнивала его к богатым землевладельцам, правда, лишь к тем из них, чьи экипажи не имели резиновых шин.

Доктор был знатоком по части простых, хорошо известных болезней.

– Миссис Маршалл, я с уверенностью могу сказать, что у вашего сына не корь.

Однако о полиомиелите он почти ничего не знал. Когда я только заболел, он собрал консилиум, пригласив еще двух докторов, один из которых как раз и поставил мне диагноз – детский паралич.

На маму этот доктор произвел сильное впечатление, и она принялась расспрашивать его о моей болезни, но он лишь сказал:

– Будь это мой сын, я бы очень-очень беспокоился.

– Я в этом не сомневаюсь, – сухо ответила мама и с этой минуты утратила в него всякую веру.

Но доктору Кроуфорду она по-прежнему доверяла. Когда другие врачи ушли, он сказал:

– Миссис Маршалл, невозможно предсказать, останется ли ваш сын калекой и выживет ли он вообще. Я лично верю, что он будет жить, но все в руках Божьих.

Маму это заявление утешило, отец, однако, воспринял его иначе, заметив, что таким образом доктор Кроуфорд признал, что ничего не смыслит в детском параличе.

– Когда говорят, что все в руках Божьих, пиши пропало, – сказал он.

В конце концов доктору Кроуфорду все же пришлось решать проблему с моими скрюченными ногами. Взволнованный и неуверенный, он тихо постукивал пухлыми пальцами по мраморной крышке умывальника возле моей постели и молча глядел на меня. Мама в напряжении стояла рядом, затаив дыхание и не смея пошевелиться, словно узник, ожидающий оглашения приговора.

– Что ж, миссис Маршалл, что я могу сказать по поводу его ног... Ммм, да... Боюсь, есть лишь одно средство... К счастью, он храбрый мальчик. Ноги надо просто выпрямить. Это единственный способ. Их надо выпрямить силой. Вопрос в том, как это сделать. Думаю, лучше всего каждое утро класть его на стол, а затем всем своим весом прижимать его колени, пока они не распрямятся. Ноги

должны быть плотно прижаты к столу. Скажем, раза три в день. Да, думаю, трех раз будет достаточно. Ну... в первый день можно дважды.

– Ему будет очень больно? – спросила мать.

– Боюсь, что да. – Доктор Кроуфорд помолчал и добавил: – Вам потребуется все ваше мужество.

Каждое утро, когда мать клала меня на спину на стол, я смотрел на картину над каминной полкой, изображавшую перепуганных лошадей. На этой гравюре черная и белая лошади в ужасе жались друг к другу, в то время как в нескольких футах от их раздутых ноздрей сверкали зигзаги молнии, вырывавшиеся из хаоса бури. На стене напротив висела вторая картина: на ней лошади в панике мчались прочь, гривы их развевались, а ноги были неестественно вытянуты, как у лошадок-качалок.

Отец, очень серьезно воспринимавший всякую живопись, порой смотрел на этих лошадей, прищурив один глаз, чтобы как следует, повнимательнее оценить их.

Как-то раз он сказал:

– Они арабские, это верно, но не чистокровные. А у кобылы к тому же нагнет[2 - Нагнет – воспалительный процесс в области холки у лошадей, возникающий из-за плохо пригнанной сбруи или неправильной посадки при езде.]. Посмотри на ее бабки.

Мне не понравилось, что отец нашел у этих лошадей какие-то изъяны. Ведь они были для меня чем-то очень важным. Каждое утро я бежал вместе с ними от ужасной боли. Наши страхи сливались воедино, превращаясь в один общий страх, делавший нас товарищами по несчастью.

Мама упиралась обеими руками в мои согнутые колени, зажмурившись, чтобы не дать слезам пролиться из-под сжатых век, всем своим телом наваливалась на мои ноги и плотно прижимала их к столу. По мере того как они распрямлялись, пальцы у меня растопыривались, а затем, искривившись, загибались вниз, словно птичьи когти. Когда подколенные сухожилия натягивались, я начинал громко кричать от боли, широко раскрыв глаза и не отводя взгляда от охваченных ужасом лошадей над каминной полкой. В то время как мучительные

судороги сводили мои пальцы, я кричал лошадям:

– О лошади, лошади, лошади!.. О лошади, лошади!..

Глава третья

Больница находилась в городке более чем в двадцати милях от нашего дома. Отец отвез меня туда на крепко сколоченной коляске с длинными оглоблями, с помощью которой он обычно приучал лошадей к упряжке. Он очень гордился этой коляской. Оглобли и колеса были сделаны из орехового дерева, а на спинке сиденья он нарисовал вставшую на дыбы лошадь. Рисунок был так себе, и отец, как правило, словно оправдываясь, объяснял это следующим образом: «Она еще не привыкла, понимаете? Первый раз на дыбы встает, потому и потеряла равновесие».

Отец запряг одну из молодых лошадей, которых объезжал, и привязал к оглобле вторую. Пока мама усаживала меня на пол коляски и забиралась сама, он держал коренника за голову. Устроившись, мама подняла меня и усадила рядом с собой. Отец продолжал разговаривать с лошадью, растирая рукой ее покрытую испариной шею.

– Тихо, милая! Эй, кому говорю! Стой смирно.

Маму не пугали выходки необъезженных лошадей. Упрямые лошади вставали на дыбы, падали на колени или норовили сойти с дороги, задыхаясь от отчаянных усилий сбросить упряжь, а мать сидела с невозмутимым видом на высоком сиденье, приспособиваясь к любому толчку или крутому повороту. Одной рукой стискивая никелированный поручень, она слегка наклонялась вперед, когда лошади резко пятились, или с силой откидывалась на спинку сиденья, когда они рвались вперед, но всегда крепко держала меня.

– Все хорошо, – прижав меня к себе, говорила мама.

Отец отпустил удила, отошел к подножке и пропустил вожжи через кулак, не сводя глаз с головы пристяжной. Одну ногу он поставил на круглую железную

ступеньку, ухватился за край сиденья, на мгновение замер, успокаивая встревоженных лошадей – «Стойте смирно!», – а потом вдруг вскочил на сиденье, как раз когда лошади поднялись на дыбы. Он ослабил поводья, и кони бросились вперед. Жеребчик, привязанный к оглобле недоуздом, тащил в сторону, вытянув шею, и неуклюже скакал рядом с лошадей в упряжи. Мы выскочили за ворота с такой скоростью, что из-под скрипучих, буксовавших, окованных железом колес во все стороны полетели мелкие камешки.

Отец похвалялся, что при всех своих стремительных выездах ни разу не задел ворот, хотя отметины на дереве на уровне ступиц явно говорили об обратном. Перегнувшись через крыло, чтобы посмотреть, велико ли расстояние между ступицей колеса и столбом ворот, мать как раз говорила:

– В один прекрасный день ты все-таки врежешься в столб.

Лошади пошли ровнее, когда мы свернули с грунтовой дороги, ведущей к нашим воротам, на вымощенное щебнем шоссе.

– А ну-ка, потише! – прикрикнул отец и добавил, обращаясь к маме: – Эта поездка поубавит им прыти. Серый – от Аббата. У того все потомство такое, с норовом.

Теплые лучи солнца и стук колес по щебню убаюкали меня. Мимо нас проносились заросли кустарничков, пастбища и ручьи, прикрытые завесой пыли, летевшей из-под копыт наших лошадей, но я ничего этого не видел. Положив голову на руку матери, я спал до тех пор, пока спустя три часа она не разбудила меня.

Под колесами нашей коляски скрипел гравий больничного двора. Я сел, разглядывая белое здание с узкими окнами, от которого исходил странный запах.

Сквозь проем открытой двери я увидел темный полированный пол и тумбочку, на которой стояла ваза с цветами. Но здание окутывала странная тишина, и она испугала меня.

В комнате, куда принес меня отец, у стены стояла мягкая кушетка и письменный стол в углу. За столом сидела медсестра, которая задавала отцу множество

вопросов и записывала его ответы в тетрадь, а он тем временем смотрел на нее так, как смотрел бы на прижавшую уши хитрую лошадь.

Когда она вышла, забрав с собой тетрадь, отец сказал матери:

– Всякий раз, как оказываюсь в таком месте, хочется послать всех к чертям собачьим. Тут задают слишком много вопросов, прямо душу выворачивают наизнанку, словно шкуру с коровы сдирают. И начинаешь чувствовать себя так, будто тебе здесь не место, будто пытаешься обвести их вокруг пальца. Ну, даже не знаю, как это объяснить...

Вскоре вернулась сестра и привела санитаря, который вынес меня из комнаты после того, как мать пообещала зайти ко мне, когда я буду уже в постели.

Санитар был одет в коричневый халат. У него было красное, морщинистое лицо, и он смотрел на меня так, словно я не ребенок, а какая-нибудь трудноразрешимая задачка. Он принес меня в ванную комнату и опустил в ванну с теплой водой. Затем сел на табурет и начал сворачивать сигарку. Раскурив ее, он спросил:

– Когда ты в последний раз мылся?

– Сегодня утром, – ответил я.

– Ну хорошо, тогда просто полежи в ванне. Сойдет и так.

Потом я сидел в прохладной, чистой постели, куда он меня положил, и умолял маму не уходить. На кровати лежал жесткий, неподатливый матрас, и я никак не мог подтянуть к себе одеяло. Под этим одеялом не будет ни теплых пещер, ни каналов, извивающихся вдоль изгибов стеганого покрывала, по которым можно перегонять камешки. Не было привычных защищающих меня стен, и я не слышал лая собаки или хруста соломы в зубах лошади. Все это были звуки родного дома, и сейчас мне до боли хотелось их услышать.

Отец уже попрощался со мной, но мать все медлила. Внезапно она быстро поцеловала меня и ушла, и то, что она могла так поступить, показалось мне невероятным. Я не мог даже подумать, что она оставила меня по своей воле;

скорее, тому виной были какие-то внезапные, ужасные обстоятельства, над которыми она не властна. Я не окликнул ее, не стал умолять вернуться, хотя мне этого отчаянно хотелось. Не в силах задержать ее, я смотрел ей вслед.

После ухода матери человек на соседней койке некоторое время молча наблюдал за мной, а потом спросил:

– Почему ты плачешь?

– Я хочу домой.

– Все мы этого хотим, – сказал он, устремил глаза в потолок и со вздохом повторил: – Да, все мы этого хотим.

В проходах между койками и в центре нашей палаты полированный пол выглядел светло-коричневым, но под койками, там, где не ступала нога медсестры, вощеные половицы были темными и блестящими.

Вдоль стен, друг против друга, в два ряда стояли белые железные кровати на колесиках. На несколько дюймов вокруг пол был исчерчен царапинами и вмятинами, потому что колесики беспокойно вертелись, когда сестры двигали кровати.

Туго натянутые, заправленные под матрасы одеяла и простыни напоминали своеобразный кокон, свитый вокруг каждого больного.

В палате лежало четырнадцать человек. Я был единственным ребенком. После ухода мамы некоторые из них постарались меня утешить.

– Не переживай, все будет хорошо, – сказал один из этих людей. – Мы о тебе позаботимся.

Меня спросили, чем я болен, и когда я рассказал, все пустились в рассуждения по поводу детского паралича, а один человек назвал его настоящим убийством.

– Да-да, убийство, – повторил он. – Так и есть. Просто убийство.

Услышав его слова, я тотчас почувствовал себя важной персоной, и мне понравился сказавший их человек. Сам я не считал свою болезнь серьезной и относился к ней, как к временному неудобству; в последующие дни обострение боли вызывало у меня обиду и злость, которые переходили в отчаяние, когда боль не отступала, но стоило ей утихнуть, как я тут же о ней забывал. Долго находиться в подавленном состоянии я не мог – слишком много интересного происходило вокруг меня.

То, как мое заболевание действовало на людей, со скорбным видом собиравшихся возле моей постели и считавших его ужасной трагедией, всегда меня приятно удивляло. Это придавало мне особую значимость и поддерживало в хорошем настроении.

– Ты храбрый мальчик, – говорили они, наклонялись и целовали меня, а затем отворачивались со скорбным видом.

Храбрость, которую приписывали мне эти люди, озадачивала меня. Мне казалось, что назвать человека храбрым – все равно что наградить его медалью. Услышав очередную похвалу по поводу моей храбрости, я всегда старался придать своему лицу суровое выражение, поскольку полагал, что моя обычная веселая физиономия как-то не увязывается с ролью храбреца.

Но я всегда боялся, что меня разоблачат, и комплименты моей храбрости – на мой взгляд, незаслуженные, – смущали меня. Ведь на самом деле я пугался даже шороха мыши под кроватью, а дома, когда ночью хотелось пить, боялся встать с постели и в темноте подойти к баку с водой. Иногда я задумывался: что бы сказали люди, узнай они об этом?

Но люди утверждали, что я храбрец, и я тайно гордился этой лестной характеристикой, к которой, однако, примешивалось некое чувство вины.

Через несколько дней я уже обжился в больнице, сроднился с соседями по палате и даже начал ощущать некоторое превосходство по отношению к новичкам, которые робко заходили в палату, испытывая смущение от устремленных на них взглядов и мечтая только о том, чтобы скорее оказаться в своей постели.

Соседи беседовали со мной, посмеивались надо мной, опекали меня, как взрослые опекают ребенка, и, как только иссякали темы для разговоров, тут же обращались ко мне. Я верил всему, что мне говорили, и моя наивная доверчивость их забавляла. Они взирали на меня с высоты своего многолетнего жизненного опыта, полагая, что раз я такой простодушный, то не понимаю, когда речь идет обо мне. Они говорили обо мне так, словно я глухой и не могу слышать их слов.

– Что ему ни скажи, он всему верит, – объяснял юнец на другой стороне палаты новичку. – Вот послушай. Эй, весельчак, – обратился он ко мне, – в колодце возле твоего дома живет ведьма, правда?

– Да, – сказал я.

– Вот видишь, – воскликнул юнец. – Забавный мальчишка. Говорят, он никогда не будет ходить.

Я подумал, что этот парень – просто дурак. Меня изумляло, что всем им кажется, будто я никогда не смогу ходить. Ведь я точно знал, что ждет меня в жизни. Я буду объезжать диких лошадей и кричать «Эй! Эй!» и размахивать шляпой, а еще я напишу книгу, вроде «Кораллового острова».

Мне нравился человек на соседней койке.

– Будем друзьями, – сказал он мне вскоре после того, как я оказался в больнице. – Хочешь быть моим товарищем?

– Хочу, – ответил я.

Однако в одной из моих первых детских книжек была цветная картинка, изображавшая друзей: они должны стоять рядом, держась за руки. Я объяснил это человеку с соседней койки, но он сказал, что это необязательно.

Каждое утро он приподнимался, опираясь на локоть, и говорил мне, подчеркивая каждое слово шлепком рукой по одеялу:

– Запомни: лучшие на свете мельницы – это мельницы братьев Макдональдов.

Меня обрадовало то, что теперь я знаю, какие из мельниц лучшие. По правде говоря, это утверждение настолько укоренилось в моем сознании, что с тех пор всегда влияло на мое отношение к мельницам.

- Их строят мистер Макдональд с братом? - спросил я.

- Да, - сказал он. - Я старший из Макдональдов. Я Ангус. - Вдруг он рухнул обратно на подушку и раздраженно буркнул: - Бог знает, как они там без меня... с заказами и прочим. За всем надо присматривать. - Тут он обратился к одному из больных: - Что пишут в газете про сегодняшнюю погоду? Будет засуха или нет?

- Газету еще не принесли, - ответил тот.

Из двенадцати обитателей нашей палаты Ангус был самым высоким и крупным. Когда его донимали боли, он то и дело громко вздыхал, сквернословил или натужно стонал, пугая меня.

Утром после бессонной ночи он говорил как бы в пустоту:

- Ох, ну и намучился же я прошлой ночью!

У него было широкое, чисто выбритое лицо с глубокими складками от ноздрей до уголков рта, гладкое, словно выделанная кожа. Когда боль стихала, его подвижный, чуткий рот легко расплывался в улыбке.

Он часто поворачивал голову на подушке и молча, не отрываясь, смотрел на меня.

- Почему ты так долго молишься? - как-то спросил он и пояснил в ответ на мой полный изумления взгляд: - Я наблюдал за тем, как двигаются твои губы.

- У меня очень много просьб, - объяснил я.

- И о чем же ты просишь? - спросил он и, видя мое смущение, добавил: - Ну же, расскажи мне. Мы ведь с тобой друзья.

Я повторил вслух свою молитву, а он слушал, уставившись в потолок и скрестив руки на груди. Когда я закончил, он повернул голову и посмотрел на меня.

– Ты ничего не упустил. Задал Ему работенку. Выслушав все это, Господь составит о тебе неплохое мнение.

Его замечание обрадовало меня, и я решил, что попрошу Господа, чтобы Он и Ангуса исцелил.

Страстная молитва, которую я повторял каждый вечер перед сном, была такой долгой, потому что число просьб, с которыми я обращался к Богу, постоянно возрастало. С каждым днем их становилось все больше, а поскольку я переставал просить только о том, что уже получил, число новых просьб намного превышало число исполненных, и я со страхом приступал к повторению молитвы. Мать никогда не позволяла мне пропускать воскресную школу, и от нее же я узнал свою первую молитву в стихах, начинавшуюся словами «Добрый, кроткий Иисусе», а заканчивавшуюся просьбой благословить всяких разных людей, в том числе отца, хотя в глубине души я всегда чувствовал, что он не нуждается ни в каком благословении. Но однажды я увидел выброшенную кем-то вполне хорошую, на мой взгляд, кошку и испугался ее окоченевшей неподвижности; мне объяснили, что она мертвая. С тех пор, лежа по ночам в постели, я представлял себе мать и отца с таким же оскалом, как у той кошки, и отчаянно молился, чтобы они не умерли раньше меня. Это была самая искренняя моя молитва, которую я никогда не забывал прочесть.

Поразмыслив, я решил включить в молитву свою собаку Мег. Я просил сохранить ей жизнь до тех пор, пока не стану достаточно взрослым, чтобы пережить ее смерть. Опасаясь, что требую от Господа слишком многого, я добавил, что, как и в случае с Мег, буду доволен, если мои родители доживут, скажем, до моих тридцати лет. Я считал, что в столь преклонном возрасте оставлю слезы в прошлом. Мужчины никогда не плачут.

Я молился о собственном излечении, всегда добавляя, что если Он не возражает, я хотел бы поправиться до Рождества. До Рождества оставалось еще два месяца.

За питомцев, которых я держал в клетках и загонах, обязательно надо было молиться, ведь теперь, когда я не мог кормить их и менять воду в поилках, о них

могли попросту забыть. Я молился, чтобы этого не произошло.

Моего попугая Пэта, вспыльчивого старого какаду, каждую ночь нужно было выпускать из клетки, чтобы он полетал среди деревьев. Иногда соседки на него жаловались. В дни стирки он садился на бельевые веревки и сдерживал прищепки. Увидев свои белые простыни в пыли, разъяренные женщины швыряли в Пэта камни и палки, и нужно было молиться, чтобы в него не попали и не убили.

Еще я молился о том, чтобы стать хорошим мальчиком.

Высказав свое мнение о моих молитвах, Ангус спросил:

– Как, по-твоему, что за малый – Господь Бог? Каков Он из себя?

Я всегда представлял Бога могучим детиной в одеянии из белых простыней, как у арабов. Он сидел на стуле, уперев локти в колени, и взирал сверху вниз на мир. Взгляд Его быстро перебегал от одного человека к другому. Он никогда не казался мне добрым, только строгим. А вот Иисус, думал я, добрый, как папа, но никогда не стал бы ругаться, как он. Но тот факт, что Иисус ездил только на ослах и никогда не скакал на лошади, слегка меня разочаровывал.

Как-то раз отец, стащив пару новых сапог, которые он «разнашивал», переобулся в эластичные сапоги фирмы «Гиллеспи» и с чувством воскликнул:

– Клянусь, эти сапоги сделаны в раю!

С тех пор я всегда представлял себе Иисуса в эластичных сапогах фирмы «Гиллеспи».

Когда я рассказал все это Ангусу, он заметил, что мои представления о Боге, скорее всего, больше соответствуют реальному положению вещей, нежели то, что рисовало его воображение.

– Моя матушка всегда говорила только по-гэльски, – сказал он. – Бог мне всегда представлялся согбенным седобородым стариком в окружении множества старушек, которые вяжут и говорят по-гэльски. Мне всегда казалось, что у Бога

на глазу повязка, а матушка говорила: «Это всё мальчишки камнями швыряются». Я и представить себе не мог, чтобы Бог что-либо сделал, предварительно не посоветовавшись с моей матушкой.

- Она вас шлепала? - спросил я.

- Нет, - задумчиво ответил он, - нас, детей, она никогда не шлепала, но с Богом особо не церемонилась.

Сосед слева что-то шепнул ему, и он ответил:

- Не волнуйся. Я вовсе не пытаюсь поколебать его веру. Когда вырастет, сам до этого додумается.

Хотя я веровал в Бога и часть вечера обязательно посвящал беседам с Ним, мне не хотелось так уж от него зависеть. Он легко мог меня обидеть, и тогда я не стал бы снова с Ним разговаривать. Я боялся Его, потому что Он мог отправить меня гореть в огне преисподней. Об этом нам рассказывал учитель воскресной школы. Но еще больше я боялся стать подлизой.

Когда, преследуя кролика, Мег повредила себе плечо, я почувствовал, что Господь сильно подвел меня, и решил, что в будущем сам буду заботиться о Мег, и ну его, этого Бога. Той ночью я не молился.

Отец упоминал Бога, только когда хотел покритиковать Его, но мне нравилось отношение отца, потому что это значило, что я смогу обратиться к нему, если Бог меня подведет, - ведь именно отец перевязал Мег плечо. Но иногда меня беспокоила манера, в которой отец поминал Бога.

Однажды он отвел кобылу к старому Дину Ковбою, у которого был жеребец. Ковбой спросил, жеребенка какой масти отец хотел бы иметь.

- Я знаю способ, как сделать любую масть, какую ни пожелаешь, - похвастался Ковбой.

- А можешь сделать так, чтобы получился жеребец или кобылка? - спросил отец.

– О нет! – набожно ответил Ковбой. – Это по силам только Господу.

Я прислушивался к их разговору, и мне показалось, что отец вроде бы подвергает сомнению власть Господа над лошадьми, однако моя вера в отца лишь крепла. Я думал, что такие, как мой отец, сильнее любого Бога.

Однако люди в больнице отличались от людей за ее пределами. Боль лишала их чего-то – чего-то важного, что я очень ценил, но не мог описать словами. Некоторые по ночам взывали к Богу, и мне это не нравилось. Мне казалось, они не должны этого делать. Даже в душе мне не хотелось признавать, что мужчины могут испытывать страх. Когда становишься мужчиной, думал я, страх, боль и сомнения просто исчезают бесследно.

Койку справа от меня занимал грузный, неуклюжий мужчина, которому солонорезкой раздробило кисть. Днем он ходил по палате, заговаривая с больными, передавая для них сообщения или принося им что-нибудь, в чем они нуждались. Он надвигался на тебя с большой, слюнявой улыбкой и с заискивающим видом нависал над кроватью.

– Ну, как дела? Хочешь чего-нибудь?

Его манера тревожила меня, возможно, потому что источником его доброты и предложения помощи было не естественное человеческое сострадание, а страх. Ему грозило лишиться руки, но Господь в своей бесконечной доброте, уж конечно, помог бы тому, кто заботится о других больных.

Мик, ирландец, лежавший наискосок от меня, всегда старался, хоть и довольно в доброжелательной форме, поскорее отделаться от него.

– Он совсем как водяная собака[3 - Водяная собака – порода охотничьих собак.], – сказал он как-то раз, когда навязчивого больного не было в палате. – Каждый раз как он ко мне подходит, меня так и подмывает бросить ему палку, чтобы он принес ее обратно.

Этот больной никогда не лежал спокойно, а все время вертелся, то садился, то снова укладывался. Он взбивал себе подушку, поворачивал ее то так, то эдак, нахмурившись, рассматривал ее. Как только наступала ночь, он доставал из тумбочки небольшой молитвенник. Выражение его лица менялось, и все тело

будто замирало. Из тайников души он извлекал приличествующую делу серьезность, в которую облакался, как в платье.

Вокруг запястья раздробленной и перебинтованной кисти он повесил цепочку с маленьким распятием и сосредоточенно прижимал к губам железный крестик. Ему, верно, казалось, что он проявляет недостаточную набожность при чтении молитв, потому что между бровей у него залегали две глубокие складки, а губы медленно шевелились, пока он читал молитву.

Однажды ночью, понаблюдав за ним некоторое время, Мик, вероятно, почувствовал, что набожность этого человека подчеркивает его, Мика, собственное неверие.

- Что он о себе воображает? - спросил он, глядя в мою сторону.

- Не знаю, - сказал я.

- Вот в чем меня не упрекнешь, так это в пренебрежении верой, - буркнул он, пристально рассматривая свой ноготь. Он покусал его и добавил: - Ну, может быть, только иногда.

Вдруг лицо его озарила улыбка.

- Вот я тебе расскажу про мою мать, благослови ее Господь. Не было на свете женщины лучше, хоть это говорю я, ее сын. Да, это факт. Другие тебе скажут то же самое. Спроси кого хочешь в Борлике, ее все знали. Бывало, скажу я ей утречком: «Хорош Бог, матушка», а она в ответ: «Это верно, Мик, да и черт не плох». Да, таких теперь нету.

Мик был невысоким, подвижным человеком, обожавшим поговорить. Он чем-то поранил руку, и ему разрешалось каждое утро вставать с постели и посещать ванную комнату. Вернувшись, он вставал возле кровати и, закатав рукава пижамы, словно собирался вкапывать столб для забора, смотрел на нее, затем забирался под одеяло, откидывался на подушки, укладывал руки перед собой и с довольным видом оглядывал палату, словно в предвкушении чего-то интересного.

- Только и ждет, чтобы его завели, - говаривал Ангус.

Иногда Мик, озадаченно нахмурившись, смотрел на свою руку и говорил:

- Никак не пойму, будь я проклят! Все ведь было хорошо, а потом я забросил мешок с пшеницей на телегу, и у меня как хрястнет. Вот так всегда: вроде как здоров, а вдруг тебя и настигнет.

- Тебе еще повезло, - ответил на это Ангус. - Еще два-три дня, и будешь снова в пабе сидеть. А про Фрэнка слышал?

- Нет.

- Помер он, вот так-то.

- Да ты что! Ну надо же! - воскликнул Мик. - Бегаешь себе молодцом, а через минуту лежишь мертвецом. А ведь во вторник, когда его выписали, с ним все было в порядке. Что с ним случилось?

- Разрыв сердца.

- Разрыв сердца - штука скверная, никогда не предугадаешь, - сказал Мик и до завтрака погрузился в мрачное молчание. Потом вдруг просиял и спросил сиделку, подавшую ему поднос: - Послушай-ка, ты сможешь когда-нибудь меня полюбить?

Сиделки в белых крахмаленных фартуках и розовых халатах и туфлях на плоской подошве сновали туда-сюда мимо моей постели, иногда улыбаясь мне или останавливаясь, чтобы поправить одеяло. Их тщательно вымытые руки пахли касторкой. Поскольку я был единственным ребенком в палате, они меня опекали.

Под влиянием отца я был склонен иногда видеть в людях сходство с лошадьми. Эти сиделки, сновавшие туда-сюда по палате, напоминали мне пони.

В день, когда отец привез меня в больницу, он бегло оглядел сестер - ему нравились женщины, - и заметил в разговоре с матерью, что среди них есть

хорошие кобылки, да все они плохо подкованы.

Стоило мне услышать за окном стук копыт, как я тут же вспоминал об отце, представлял, как он сидит на норовистой лошади и всегда улыбается. Он написал мне письмо:

«У нас стоит засуха, и мне приходится подкармливать Кейт. У ручья еще сохранилась трава, но мне хочется, чтобы к твоему возвращению она была в хорошей форме».

Прочтя письмо, я сказал Ангусу Макдональду:

– У меня есть пони по кличке Кейт, – и добавил, подражая отцу: – У нее шея длинновата, но она честная лошадка.

– Твой старик объезжает лошадей, да? – спросил тот.

– Да, – ответил я. – Он лучший наездник в Туралле.

– Одевается-то он франтом, – пробормотал Макдональд. – Я как его увидел, поначалу принял за циркача.

Я лежал и обдумывал его слова, пытаюсь понять, похвала это или нет. Мне нравилось, как одевается мой отец. По его платью можно было понять, что человек он быстрый и ловкий. Когда я помогал ему снимать сбрую, у меня на руках и одежде вечно оставались следы масла, но отец никогда не пачкался. Он гордился своей одеждой. Ему нравилось, что на его белых молескиновых штанах нет ни единого пятнышка, а начищенные сапоги всегда сверкают.

Отец любил хорошие сапоги и почитал себя знатоком по части кожи. Он всегда гордился сапогами, которые носил; сапоги обычно были эластичные. По вечерам, сидя на кухне возле печки, он аккуратно стаскивал их, внимательно осматривал, разминал руками подошву и то так, то эдак сгибал верхнюю часть в поисках следов износа.

– Голенище левого сапога лучше, чем у правого, – как-то сказал он мне. – Странно. Правый первым выйдет из строя.

Он часто упоминал профессора Фентона, который владел цирком в Квинсленде и имел нафабранные усы. Профессор носил белую шелковую рубашку и красный кушак и умел делать бичом двойную сиднейскую петлю. Отец тоже умел махать хлыстом, но не так, как профессор Фентон.

Пока я раздумывал обо всем этом, в палату вошел отец. Он шел быстрым, коротким шагом и улыбался. Одну руку он держал на груди, где под белой рубашкой было припрятано что-то увесистое. Подойдя к моей кровати, он посмотрел на меня.

– Ну, как ты, сынок?

Я чувствовал себя неплохо, но отец принес с собой ощущение дома, и я едва не расплакался. До его появления старый забор из жердей, на который я взбирался, чтобы посмотреть, как он управляется с лошадьми, наша домашняя птица, собаки, кошки, – все это как бы отдалилось от меня, но теперь вновь показалось близким и настоящим, и я вдруг почувствовал острую тоску по ним. По маме я тоже скучал.

Я не заплакал, но отец, глядя на меня, вдруг сжал губы. Он сунул руку за пазуху, где прятал что-то, и извлек оттуда барахтающееся светло-коричневое существо. Приподняв одеяло, он положил его мне на грудь.

– Вот, прижми к себе, – сурово сказал он. – Прижми покрепче. Это один из щенков Мег. Лучший из всего помета, и мы назвали его Алан.

Я обнял руками теплый, пушистый комочек и прижал к груди, и вся моя тоска улетела, словно унесенная порывом ветра. Я ощутил прилив чистейшего счастья и, глядя отцу в глаза, дал ему это почувствовать, а он улыбнулся в ответ.

Щенок завозился. Я заглянул под одеяло, которое поддерживал поднятой рукой, и увидел, как он лежит там, глядя на меня лучистыми глазенками. Увидев меня, он дружелюбно завилял хвостом. Его радость жизни передалась мне, освежив и укрепив меня, и я больше не чувствовал никакой слабости. Мне было приятно ощущать его вес, и от него пахло домом. Я бы хотел держать его вечно.

Наблюдавший за нами Макдональд подозвал Мика, который, перебросив через руку полотенце, шел по палате, и сказал:

– Иди-ка отвлеки медсестер, Мик, – а отцу пояснил: – Сами знаете, как они тут... по поводу собак... Ничего не понимают... В том-то и беда...

– Это верно, – согласился отец. – Хватит и пяти минут. Для него это все равно что глоток воды в жару.

Глава четвертая

Я уважал мужчин. Считал, что они способны преодолеть любую трудность и наделены величайшей храбростью. Они могли починить что угодно, они знали все на свете, они были сильными и надежными. Я с нетерпением ждал, когда вырасту и стану таким же, как они.

Отец казался мне типичным представителем всех мужчин. Если он вел себя необычно для мужчины, я полагал, что он делает это нарочно, чтобы позабавить людей. Я был уверен, что в такие минуты он всегда владеет собой и отвечает за свои поступки.

Именно поэтому пьяные не вызывали у меня страха.

Когда отец бывал пьян, а такое случалось редко, я был уверен, что хотя он предстает перед всеми в ином виде, внутри он по-прежнему остается трезвым и взрослым.

Я с восторгом наблюдал за тем, как, вернувшись домой после долгого пребывания в пабе, он хватал мать за талию, восклицал: «А ну-ка!» и кружил ее по кухне в диком танце, сопровождавшемся громкими возгласами. Пьяный был для меня веселым, говорливым, хохочущим человеком, который качался и спотыкался только для того, чтобы развеселить окружающих.

Как-то вечером две сиделки привели к нам в палату пьяного мужчину, которого в больницу доставила полиция. Я с изумлением и страхом смотрел на него, не понимая, что такое с ним произошло, – казалось, им управляет кто-то изнутри, кто-то, кого он не в силах сдержать. Его колотила дрожь, из раскрытого рта свисал язык.

Через открытую дверь я видел, как он посмотрел на потолок и закричал:

– Эй! Ты что там делаешь? А ну слезай, уж я с тобой разберусь!

– Там никого нет, – сказала одна из сиделок. – Идемте.

Он шел между ними, точно арестант, и едва не врезался в стену, будто слепая лошадь. Сиделки отвели его в ванную.

Вымыв и уложив его в кровать рядом с постелью Мика, сестра дала ему снотворное. Глотая лекарство, человек издавал какие-то странные звуки и кричал:

– К черту! – а потом жалобно добавил: – Это яд. Страшно ядовитое пойло.

– Теперь ложитесь, – велела сестра. – Здесь вы в безопасности. Скоро вы уснете.

– Фараоны пытались все повесить на меня, – пробормотал он. – Мой приятель первым ударил... Да-да, клянусь, именно так и было... Где это я, черт побери? Вы медицинская сестра, верно? Да, правильно... Как делишки? Мы уже несколько недель гуляем... Я прилягу... Сейчас угомонюсь...

Сиделка, положив руку ему на плечо, мягко уложила его обратно на подушку и ушла.

После того как за ней закрылась дверь, он с минуту тихо лежал в полумраке, а затем осторожно сел и уставился на потолок. Потом тщательно осмотрел стены и пол рядом с кроватью. Потом ощупал железный каркас кровати, словно испытывал ловушку на прочность.

Тут он заметил Мика, который, откинувшись на подушку, наблюдал за ним.

- День добрый, - сказал он.

- Здорово, - ответил Мик. - Что, допился до чертиков?

- Это верно, - ответил пьяный. - Сколько в этом заведении берут за ночь?

- Все бесплатно, - сказал Мик. - Будешь как сыр в масле кататься.

Пьяница что-то проворчал. У него были полные, дряблые щеки, обросшие седой щетиной. Кожа вокруг глаз опухла и казалась воспаленной, как будто он много плакал. Нос у него был крупный и мясистый, изрытый глубокими, темными порами, в которых будто прятались корни волос.

- Ты мне кажешься знакомым, - обратился он к Мику. - Бывал когда-нибудь в Милдьюре? Или в Оверфлоу, Пиангиле, Бурке?..

- Нет. - Мик вынул из тумбочки папиросу. - Никогда там не бывал.

- Ну, тогда я тебя не знаю.

Он сидел, уставившись перед собой, а руки его бесцельно шарили по покрывалу. Вдруг он прошептал:

- Что это там такое? Смотри! Возле стены! Оно двигается!

- Это стул, - глянув в ту сторону, сказал Мик.

Пьянчуга поспешно лег и натянул одеяло на голову. Вся постель под ним дрожала.

Увидев это, я тоже лег и спрятался под одеялом.

- Эй! - услышал я голос Макдональда. Я не шевелился. - Эй, Алан!

Я высунулся из-под одеяла и посмотрел на него.

– Не бойся, – успокоил он меня. – Парень просто надрался, и теперь у него белая горячка.

– А что это? – чуть дрожащим голосом спросил я.

– Слишком много выпил, вот ему и мерещится невесть что. Завтра он придет в себя.

Но я никак не мог уснуть, и когда пришла ночная сиделка, я сел на постели и наблюдал, как она обходит палату.

– Сестра, пойдите сюда, – позвал ее пьяный. – Хочу вам кое-что показать. Поднесите-ка свечу.

Она подошла к его кровати, высоко подняв светильник, чтобы лучше видеть. Пьяница откинул одеяло и плотно прижал палец к голому бедру.

– Смотрите! Я его поймал. Смотрите!

Он приподнял палец. Медсестра наклонилась, и фонарь ярко осветил ее лицо. Она нетерпеливо махнула рукой.

– Это бородавка. Спите.

– Никакая это не бородавка. Посмотрите, оно двигается.

– Спите, – сказал она, дружелюбно похлопав его по плечу.

Она укрыла его одеялом. Ее хладнокровие и безмятежность успокоили меня. Вскоре я заснул.

На следующее утро, еще толком не проснувшись, я лежал и думал о яйцах у себя в тумбочке. Вчера я пересчитал их, но сейчас, спросонья, никак не мог вспомнить, сколько их там.

Завтрак в больнице ели без всякого удовольствия.

– Ешь только для того, чтобы не помереть с голоду, – объяснял Ангус новичку. – Иначе никак себя не заставишь.

На завтрак обычно давали тарелку каши и два небольших куска хлеба с тоненьким слоем масла. Те, кто мог позволить себе купить яйца, или те, кому их передавали державшие кур друзья или родные, хранили у себя в тумбочке запас яиц. Эти яйца они берегли как зеницу ока и очень беспокоились, когда запас подходил к концу и оставалось всего одна-две штуки.

– У меня яйца кончаются, – говорили они, с мрачным видом заглядывая к себе в тумбочку.

Каждое утро по палате проходила сиделка с миской в руках.

– Давайте яйца. Кому приготовить яйца на завтрак?

Едва услышав ее голос, больные торопливо садились и тянулись к своим тумбочкам: кто-то медленно, кривясь от боли, другие – мучительно преодолевая слабость. Приоткрыв ящики, они доставали коричневые бумажные пакеты или картонные коробки, в которых лежали яйца. Прежде чем вручить их сиделке, они писали на скорлупе свои имена, а потом усаживались в постели и в сером утреннем свете, нахохлившись, словно печальные птицы в гнездах, пересчитывали оставшиеся яйца.

Подписывать яйца было необходимо, поскольку из-за них нередко возникали споры и владельцу крупных коричневых яиц могло достаться яйцо молодки, когда их сваренными приносили обратно. Некоторые из больных очень гордились свежестью своих яиц. Когда им их возвращали, они подозрительно принюхивались и утверждали, что им отдали лежалое яйцо другого больного.

Те, у кого яиц не было, всегда задумчиво и даже с некоторой неприязнью взирали на эту традиционную утреннюю церемонию. Потом они ложились, вздыхали и, охая, жаловались на минувшую ночь. Многие больные делились яйцами с этими несчастными.

– Так, вот три яйца, – говорил Ангус сиделке. – Одно для Тома, одно для Мика, а третье для меня. Я их все надписал. И скажите поварихе, чтобы не варила вкрутую.

Яйца всегда возвращались крутыми. Рюмочки для них не давали, и приходилось держать горячее яйцо в руке, втыкая туда ложку.

Мать присылала мне дюжину яиц в неделю, и я был счастлив, если мог крикнуть соседу по палате: «Том, сегодня утром я положил яйцо и для тебя». Мне нравилось видеть, как при этих моих словах его лицо расплывалось в улыбке. Моя дюжина яиц быстро кончалась, и тогда Ангус каждое утро давал мне одно из своих запасов.

– Ты слишком щедро разбрасываешься яйцами, – говорил он. – Оставь себе хоть сколько-нибудь. У меня уже тоже заканчиваются.

Я пытался вспомнить, у кого из больных нынче не было яиц, и тут я подумал о новичке, который теперь, при свете дня, уже не казался таким страшным. Я торопливо сел и посмотрел на его кровать, но он с головой спрятался под одеялом.

– Что это он делает? – спросил я Ангуса.

– Ему все еще мерещится какая-то чертовщина, – ответил Макдональд, разворачивая кусочек масла, которое он достал из сундука. – Он провел скверную ночь. Раз даже с постели встал. Мик говорит, сейчас он слаб, как котенок.

Мик сидел и зевал, сопровождая каждый зевок болезненным стоном. Почесав грудь, он поддакнул Ангусу:

– Слаб не то слово. Ничего удивительного... Спать полночи не давал, скотина. А ты-то выспался, Мак?

– Да не особенно. Опять боль замучила. Всю душу вытрясла. Но это не сердце, потому что болит с правой стороны. Я сказал доктору, но он так и не объяснил, что это такое. Они никогда ничего не объясняют.

– Факт, – согласился Мик. – Вот я всегда говорю: кто сам болеет, тот и понимает. Я вот прошлой ночью навалился себе на руку, и мне было чертовски трудно сдержаться, чтобы не взвыть. Этот малый, – он мотнул головой в сторону

закутанного в одеяла новичка, – думает, ему скверно. Неплохо, видимо, время проводил, пока скверно не стало. Я бы не задумываясь променял свою руку на его кишки.

Мне нравилось слушать эти утренние беседы, хотя я часто не понимал, о чем идет речь. Я всегда хотел узнать побольше.

– А зачем вы навалились себе на руку? – спросил я Мика.

– Зачем?! – удивленно воскликнул Мик. – Как это «зачем»? Я-то откуда знал? Навалился, потому что думал, это здоровая рука. Ну и забавный же ты парнишка.

Его сосед застонал. Мик повернулся к вороху постельного белья и сказал:

– Да, брат, плохи твои дела. Завтра будешь червей кормить. Хочешь не хочешь, а все хорошее когда-нибудь заканчивается.

– Не говори так, – одернул его Ангус. – Напугаешь человека до смерти. Будешь сегодня яйцо или нет?

– Давай два, на следующей неделе я верну тебе должок, когда моя старушка придет меня проведать.

– Может, она тебе ничего и не принесет...

– Всякое может быть, – ответил Мик, уныло кивая. – Смешно, но человеку никогда не удастся найти жену, которая была бы под стать его матери. Сколько раз уже такое видал. Сейчас все женщины одинаковые. Прямо на глазах портятся, кто угодно тебе скажет. Бывало, зайдешь к моей мамаше в кладовую, а там – эх, черт побери! – мыш, и та не проскочит между банками с соленьями, вареньем, бутылками соусов и солодового пива, и все это она своими руками готовила. А теперь попробуй попроси любую женщину сварить тебе баночку варенья... – Он презрительно махнул рукой и добавил изменившимся тоном: – Она принесет яйца. Дай мне два. Я сегодня прямо-таки умираю с голоду.

Пьянчуга вдруг выпрямился и резко скинул покрывало, будто собрался соскочить с кровати.

– Эй! А ну укройся, – велел Мик. – Вчера уже доигрался. Прекрати. Если сейчас попробуешь сбежать, тебя ремнями пристегнут.

Пьянчуга подтянул одеяло и схватился за голову. Потом сказал Мику:

– До сих пор во рту привкус этого лекарства. Внутри все прям ходуном ходит.

– Хотите яичко? – неуверенно, дрожащим голосом спросил я.

– Мальчишка спрашивает, не хочешь ли ты яйцо на завтрак, – пояснил ему Мик.

– Да, – ответил пьянчуга, не разжимая рук. – Хочу. Хочу. Мне надо восстановить силы.

– Он съест, – передал мне Мик. – Клади.

Я вдруг проникся к этому мужчине симпатией и решил попросить маму принести побольше яиц, чтобы хватило и на его долю.

После завтрака сиделки обычно сновали от кровати к кровати, набрасывая снятые вечером покрывала. Они склонялись над каждой койкой, а больные, лежа на подушках, смотрели на них снизу вверх. Сосредоточенные на своей работе, сиделки не обращали на больных внимания. Они заправляли простыни и одеяла, разглаживали складки, готовя палату к обходу старшей медсестры.

Когда не было особой спешки, некоторые из них были не прочь поболтать с нами. Среди них были милые, приятные женщины, любившие посплетничать, называвшие старшую медсестру «старой наседкой» и загодя предупреждавшие нас о приходе сестер.

Одна из них, сиделка Конрад, молоденькая веселая толстушка, была любимицей Ангуса. Когда ему приносили апельсины, он всегда откладывал один для нее.

– Вот славная девчушка, – сказал он мне как-то, когда она, проходя мимо, улыбнулась ему. – Надо обязательно посоветовать ей сходить на семейство Бланш!

В город как раз приезжала странствующая труппа «Мастеров музыки и развлечений», и больные в нашей палате с азартом обсуждали анонсирующие ее выступления волнующие афиши.

– Про семейство Бланш я только одно могу сказать, – заявил Мик. – Оно стоит уплаченных денег. Есть там один паренек... Он с ними был в прошлом году, и я вам говорю, до чего же хорош... Этот малый играл на пивных бутылках «На ней веночек был из роз» так, что на глаза слезы наворачивались, черт подери. А на вид такой невзрачный, плюгавенький... В пабе встретишь, внимания не обратишь. Эх, как жаль, что я это пропускаю!

На следующее после представления утро, когда на рассвете сиделка Конрад торопливо вошла в палату, ее уже ждал сгоравший от нетерпения Ангус, желавший узнать, как прошло выступление.

– Ну, как сходила? – обратился он к ней.

– Ух, это было чудесно, – воскликнула она. Ее только что умытые пухлые щеки сияли. – Мы сидели во втором ряду.

Она на мгновение умолкла, заглянула в книгу записей на столе у входа и поспешила к Ангусу. Поправляя его постель, она принялась рассказывать.

– Было так замечательно, – восторженно начала она, – а народу сколько! Человек, проверявший у входа билеты, был одет в черный плащ с красной подкладкой.

– Это сам старик Бланш, – вставил Мик с другого конца палаты. – Он всегда там, где денежки.

– И вовсе он не старый, – обиделась за него сиделка Конрад.

– Ну, значит, это был его сын, – сказал Мик. – Невелика разница.

– Рассказывай дальше, – поторопил ее Макдональд.

– А маленький такой паренек играл «На ней веночек был из роз»? – не унимался Мик.

– Да, – нетерпеливо ответила сестра Конрад. – Но на сей раз он играл «Дом, милый дом».

– А певцы какие-нибудь хорошие были? – спросил Ангус. – Пели шотландские песни?

– Нет, вот этого не было. Выступал один мужчина, – со смеху помереть можно! Он пел «Папаша мой носил сапоги на гвоздях». Как же мы хохотали! А еще выступал швейцарец, одетый по-швейцарски и все такое. Он пел йодли на тирольский манер, но...

– А что такое йодли? – спросил я.

Я перегнулся через край кровати, стараясь подобраться как можно ближе к сиделке Конрад, чтобы не упустить ни слова из ее рассказа. Это представление казалось мне не менее волнующим, чем цирк. Даже просто увидеть человека в плаще с красной подкладкой было бы замечательно. Сиделка Конрад теперь казалась мне необычайно интересной, обаятельной личностью, будто сам факт того, что она побывала на этом концерте, наградил ее качествами, которыми ранее она не обладала.

– Йодль – это песня, в которой берешь очень высокие ноты, – быстро ответила она, повернувшись ко мне, а затем продолжила рассказывать Ангусу: – Знала я одного паренька в Бендиго. Высокий такой был, статный... – Она усмехнулась и заправила выбившуюся из-под чепца прядь волос. – Этот паренек умел петь йодли не хуже любого швейцарца, кто бы что ни говорил. Знаете, мистер Макдональд, мы с ним гуляли, и я могла хоть всю ночь слушать его пение. Я вам вот что скажу: сама-то я петь не умею, так, иногда напеваю что-то для себя, для развлечения, но уж в чем в чем, а в музыке я хорошо разбираюсь, поверьте мне на слово. Семь лет училась, мне ли не знать. Я про музыку все знаю, так что прошлая ночь мне очень понравилась. Но этот исполнитель йодлей Берту и в подметки не годится, кто бы что ни говорил.

- Да, - без выражения сказал Макдональд, - верно.

Он как будто не знал, что говорить дальше. Я хотел, чтобы он продолжал расспрашивать сиделку, но она повернулась и начала поправлять мою постель. Подтыкая края одеяла под матрас, она наклонилась, и ее лицо приблизилось к моему.

- Ты ведь мой мальчик, верно? - спросила она с улыбкой, глядя мне в глаза.

- Да, - напряженно ответил я, не в силах отвести от нее взгляда. Я вдруг почувствовал, что люблю ее. Меня охватило волнение, и больше я ничего не мог из себя выдавить.

Подчиняясь какому-то порыву, она нагнулась, поцеловала меня в лоб и, засмеявшись, отошла к Мику. Тот сказал ей:

- Мне бы это тоже не помешало. Говорят, в душе я ребенок.

- Да что вы такое говорите! А еще женатый человек! Что сказала бы ваша супруга? Дурной вы человек, наверное.

- Есть такое дело! А какой толк в хороших людях? Их и девушки не любят.

- Еще как любят, - возмутилась сиделка Конрад.

- Нет, - возразил Мик. - Они как дети. Когда детишки моей сестры нашкодят, их мать говорит: «Вырастите такими, как ваш дядя Мик». А они считают меня самым лучшим дядюшкой на свете, черт подери!

- Вы не должны так выражаться.

- Конечно, не должен, - согласился Мик. - Это правда.

- Так, не помните покрывало. Сегодня старшая сестра рано будет совершать обход.

Старшая медсестра была полной женщиной с родинкой на подбородке, из которой торчали три черных волоска.

– Давно бы их уже выдернула, – как-то заметил Мик, после того как старшая сестра вышла из палаты. – Но женщины до того странные существа, поди пойми, как устроены их мозги. Небось думают, если выдернуть волоски, придется признать, что они есть. Потому и держатся за них, делая вид, что их нет. Ну да ладно, пускай растит себе на здоровье! Она и так кого хочешь за пояс заткнет.

Старшая сестра быстро переходила от одной кровати к другой. За ней следовала медсестра, которая почтительно докладывала обо всем, что, по ее мнению, матроне нужно было знать о больных.

– Его рана хорошо заживает. Этому больному мы давали змеиный корень.

Старшая сестра считала, что больных нужно подбадривать.

«Доброе слово творит чудеса», – повторяла она, четко выговаривая каждое слово, будто произносила скороговорку.

Жестко накрахмаленная форма вынуждала ее передвигаться особым образом, и скованностью движений иногда она напоминала марионетку, которую дергала за ниточки следовавшая позади сестра.

Когда она наконец появилась в дверях, больные уже закончили утренние разговоры и сидели или лежали в ожидании, подавленные строгостью безупречных постелей и мыслями о своих недугах.

В отсутствие старшей сестры Мик всегда говорил о ней непочтительным тоном, но теперь, когда она приближалась к его постели, он держался в какой-то взволнованно-уважительной манере.

– Как вы сегодня себя чувствуете, Бурк? – нарочито бодрим голосом спросила она.

– Хорошо, сестра, – весело ответил Мик, но сохранить этот тон ему не удалось. – Плечо еще не очень, но, по-моему, становится лучше. А вот руку пока не могу

поднять. С ней что-нибудь серьезное?

– Нет, Бурк. Доктор всем доволен.

Одарив его улыбкой, она двинулась дальше.

– Черта с два от нее чего-нибудь добьешься, – кисло пробормотал Мик, когда она отошла достаточно далеко.

Подойдя ко мне, старшая сестра приняла вид человека, который собирается говорить ребенку что-то ободряющее и успокаивающее, чтобы произвести впечатление на взрослых, которые это слышат. Мне в такие минуты всегда становилось не по себе, как будто меня вытащили на сцену и велели дать представление.

– Ну, как сегодня наш храбрый малыш? Сиделка говорит, ты часто поешь по утрам. Не споешь ли мне песенку?

От смущения я не знал, что ответить.

– Он поет «Брысь, брысь, черный кот», – подтвердила выступившая вперед сиделка. – И очень хорошо поет.

– Думаю, когда вырастешь, ты станешь певцом, – сказала старшая сестра. – Хочешь стать певцом? – Не дожидаясь ответа, она повернулась к другой сестре и продолжала: – Большинство детей хотят, когда вырастут, стать машинистами паровоза. Мой племянник как раз из таких. Я купила ему игрушечный поезд, и он так его любит, малыш. – Она снова повернулась ко мне. – Завтра ты уснешь, а когда проснешься, твоя ножка будет завернута в чудесный белый кокон. Замечательно, не правда ли? – И снова сиделке: – Операция назначена на десять тридцать. Сестра подготовит его.

– Что такое операция? – спросил я Ангуса, когда они ушли.

– Да так, ничего особенного. Займутся твоей ногой... починят ее, когда будешь спать.

Я видел, что он не хочет ничего объяснять, и на мгновение меня охватил страх.

Однажды отец не стал распрягать молодую лошадь, а привязал вожжи к ободу колеса и пошел пить чай, а она как рванет! Натянутые вожжи лопнули, и лошадь помчалась к воротам, разбила бречку о столб и – только ее и видели.

Выбежав на шум, отец постоял с минуту, разглядывая обломки, потом повернулся ко мне – я вышел следом за ним, – и сказал: «А, наплевать! Пошли чай допить».

Почему-то этот случай пришел мне на память, когда Ангус замолчал и не стал ничего объяснять. Мне сразу стало легче дышать.

– А, наплевать! – небрежно воскликнул я.

– Так держать, – сказал Ангус.

Глава пятая

Лечивший меня доктор Робертсон был высоким человеком и всегда носил выходной костюм.

Я подразделял любую одежду на две категории: воскресную и ту, которую можно носить всю остальную неделю. Выходной костюм иногда можно было надевать и в будни, но только по особым случаям.

Мой выходной костюм из грубой синей саржи доставили в коричневой картонной коробке. Он был завернут в тонкую оберточную бумагу и издавал чудесный запах новой вещи.

Но я не любил надевать его, потому что его нельзя было пачкать. Отец тоже не любил свой выходной костюм.

– Давай-ка снимем эту проклятую штуку, – говорил он по возвращении из церкви, куда ходил редко, и то по настоянию матери.

Меня поразило, что доктор Робертсон носил выходной костюм каждый день. Более того, посчитав его праздничные костюмы, я выяснил, что у него их аж четыре, из чего сделал вывод, что он, видимо, очень богат и живет в доме с газоном. Те, кто жил в доме с газоном перед входом или ездил в коляске с резиновыми шинами или в кабриолете, всегда были богачами.

Как-то раз я спросил доктора:

– У вас есть коляска?

– Да, – ответил он, – есть.

– У нее резиновые шины?

– Да, резиновые.

После этого мне стало трудно с ним разговаривать. Все, с кем я был знаком, были бедняками. Я знал богачей по именам и видел, как они проезжали мимо нашего дома, но они никогда не удостоивали бедняков ни взглядом, ни словом.

– Едет миссис Карразерс, – кричала моя сестра, и все мы бросались к воротам, чтобы посмотреть на коляску, запряженную парой серых лошадей и с кучером на козлах.

Как будто ехала сама королева!

Я вполне мог представить, как доктор Робертсон беседует с миссис Карразерс, но никак не мог привыкнуть к тому, что он обращается ко мне.

У него была бледная, не тронутая солнцем кожа, более темная на щеках, где бритва оставила глубокие корешки волос. Мне нравились его светло-голубые глаза, вокруг которых залегали морщины, превращавшиеся в более глубокие складки, когда он смеялся. Длинные, узкие руки его пахли мылом и были прохладными на ощупь.

Он ощупал мою спину и ноги и спросил, больно ли мне, а затем выпрямился, посмотрел на меня и сказал медсестре:

– Искривление весьма значительное. Поражена часть спинных мышц.

Осмотрев мою ногу, он погладил меня по голове и сказал:

– Скоро мы это исправим. – И обращаясь к сестре: – Необходимо выровнять берцовую кость. – Ощупывая мою лодыжку, он продолжал: – Вот здесь придется укоротить сухожилия и поднять стопу. Надрез сделаем в области лодыжки. – Он медленно провел пальцем к моему колену. – Вот здесь надо будет выравнивать.

Я навсегда запомнил движение его пальца, потому что на этом месте теперь шрам.

В то утро, когда он должен был оперировать меня, доктор Робертсон помедлил, проходя мимо моей кровати, и обратился к сопровождавшей его старшей сестре:

– Мальчик вроде бы совсем освоился, уже не грустит.

– Да, он славный мальчуган, – согласилась старшая сестра и добавила тоном, которым обычно подбадривала больных: – Он умеет петь «Брысь, брысь, черный кот», не правда ли, Алан?

– Да, – смущенно подтвердил я; мне всегда становилось не по себе, когда она говорила со мной таким тоном.

Доктор задумчиво посмотрел на меня, а потом внезапно подошел и откинул мое одеяло.

– Повернись, чтобы я мог осмотреть твою спину, – велел он.

Я перевернулся на живот и почувствовал, как его прохладная рука исследует мою искривленную спину.

– Хорошо! – Он встал и приподнял одеяло, чтобы я мог снова лечь на спину.

Когда я повернулся к нему лицом, он взъерошил мне волосы и сказал:

– Завтра мы выпрямим твою ногу. – Потом добавил с улыбкой, которая показалась мне странной: – Ты храбрый мальчик.

Я принял эту похвалу без малейшего чувства гордости, не понимая, что заставило его так сказать. Я вдруг захотел, чтобы он узнал, какой я хороший бегун. Я подумывал о том, чтобы рассказать ему, но он уже повернулся к Папаше, который, сидя в инвалидной коляске, улыбался доктору беззубыми деснами.

Папаша прижился в больнице, как кошка в доме. Это был пожилой пенсионер с парализованными ногами. Он передвигался по палате, а иногда выезжал и на веранду в инвалидном кресле, к колесам которого были приделаны специальные рычаги. Папаша сжимал худосочными руками эти рычаги и быстрыми, резкими движениями вращал колеса. Наклонившись вперед, он гонял по палате, а я завидовал ему и представлял, как сам мчусь по больнице в таком кресле, выигрываю гонки в креслах на спортивных состязаниях и кричу: «Дай дорогу!», как это делают велосипедисты.

Во время посещения врача Папаша всегда занимал место у моей кровати. Он внимательно следил за тем, как доктор обходит палату, и готовился, как только тот остановится перед ним, поразить доктора заранее подготовленной речью. В такие минуты с ним бесполезно было разговаривать, он никого не слышал. Однако в другое время он болтал без умолку.

Этот угрюмый старик постоянно жаловался и терпеть не мог обязательного ежедневного мытья.

– Эскимосы вообще не моются, а их и топором не зарубишь, – говорил он, оправдывая свое предубеждение против воды.

Сестра каждый день заставляла его принимать ванну, а он считал, что это наносит вред его легким.

– Сестра, не сажайте меня опять под эту брызгалку, а не то я подхвачу воспаление легких.

Когда он закрывал рот, морщины на его лице превращались в глубокие складки. На круглой голове торчали тонкие, редкие седые волосы, сквозь которые проглядывала блестящая, испещренная коричневыми пятнами кожа.

Я испытывал к нему легкое отвращение – не из-за внешности, которая казалась мне довольно интересной, просто мне не нравилась его грубая манера поведения, и от того, как он говорил, иногда становилось не по себе. Как-то раз он сказал сестре:

– Сестра, сегодня у меня нет никаких выделений из кишечника. Это важно?

Я быстро посмотрел на сестру – интересно было, что она на это ответит, – но она, оставаясь все такой же спокойной, никак не отреагировала на его заявление.

Его жалобы раздражали меня, и я думал, что иногда ему следовало бы говорить, что он чувствует себя хорошо, вместо того чтобы постоянно ныть, как ему плохо.

– Как дела, Папаша? – иногда спрашивал у него Мик.

– Хуже не бывает.

– Ну, зато ты пока не умер, – весело отвечал Мик.

– Нет, но чувствую себя так, будто вот-вот отдам концы. Вот-вот.

Папаша трагически качал головой и катился к постели какого-нибудь новичка, еще не уставшего от его стонов. Он уважал старшую сестру и всегда следил за тем, чтобы не обидеть ее, главным образом потому, что она в любой момент могла отослать его в какой-нибудь дом престарелых.

– В таких местах долго не протянешь, – говорил он Ангусу, – особенно если ты болен. Раз ты больной и старый, правительство так и норовит поскорее от тебя избавиться.

Поэтому в разговорах со старшей сестрой он всегда проявлял такую вежливость, на какую только был способен, стремясь задобрить ее и убедить, что страдает

тяжелым недугом, из-за которого ему просто необходимо оставаться в больнице.

– Сердце у меня тяжелое, будто ломоть баранины, – однажды сказал он ей в ответ на ее вопрос о его самочувствии.

Я тут же представил себе стол мясника, на котором лежало влажное и холодное сердце. Мне стало грустно, и я сказал Ангусу:

– Сегодня я себя хорошо чувствую, очень хорошо.

– Вот молодец, – похвалил он, – так держать.

Мне нравился Ангус.

Тем утром, когда старшая сестра совершала обход, Папаша подъехал к камину, в котором горел обогревавший палату огонь.

– Кто трогал занавески? – спросила она.

Открытое окно, на котором они висели, находилось рядом с камином, и ветерок относил их ближе к огню.

– Это я сделал, сестра, – признался Папаша. – Боялся, как бы они не загорелись.

– У вас, наверное, были грязные руки, – сердито сказала она. – И теперь занавески все в черных пятнах. Впредь всегда просите сиделку передвинуть их.

Папаша заметил, что я прислушиваюсь, и позже сказал мне:

– Знаешь, старшая сестра – прекрасная женщина. Вчера она спасла мне жизнь, и хоть я думаю, что этот случай с занавесками ее расстроил, но будь это моя хибара и мои занавески, я поступил бы точно так же. С огнем нельзя шутить.

– Мой отец однажды видел, как сгорел дом, – сказал я.

– Да, да, – нетерпеливо перебил он. – Еще бы... Судя по тому, как он расхаживает по палате, когда приходит тебя навещать, сразу можно догадаться, что он много чего в жизни перевидал. А с огнем шутки плохи... Стоит ему только разок лизнуть шторку, как она тут же вся займется, вот как это происходит.

Иногда Папашу навещал пресвитерианский священник. Этот одетый в черное человек знал Папашу с тех пор, как тот жил в хижине у реки. Когда Папашу положили в больницу, священник продолжал навещать его и приносил ему табак и газету «Вестник». Это был молодой человек с серьезным голосом, пятившийся, словно пугливая лошадь, когда кто-либо из сиделок намеревался с ним заговорить. Папаша очень хотел его женить и предлагал ему то одну, то другую сиделку. Я всегда скучал, слушая, как Папаша нахваливает священника и как сиделки реагируют на предложение выйти за того замуж, но когда он начал приставать с этим вопросом к сиделке Конрад, я выпрямился на постели, вдруг испугавшись, что она, чего доброго, согласится.

– Хороший, холостой мужчина, – говорил ей Папаша. – И домик у него приличный. Может, не очень чистый, но ничего, ты бы там навела порядок. Ты только скажи. Парень он, разумеется, честный...

– Я подумаю, – обещала ему сиделка Конрад. – Может, и на домик схожу поглядеть. А у него есть двуколка и лошадь?

– Нет, – сказал Папаша. – Ему негде держать лошадь.

– Я хочу двуколку и лошадь, – заметила сиделка Конрад.

– Когда-нибудь у меня будут двуколка и лошадь, – тихо сообщил ей я.

– Вот и отлично, за тебя я выйду. – Она улыбнулась и помахала мне рукой.

Я лег обратно, чувствуя себя удивительно взрослым и ответственным человеком. Я не сомневался, что теперь мы с сиделкой Конрад помолвлены. Я постарался придать своему лицу выражение, с которым, как мне казалось, смелый исследователь смотрит в морскую даль. Про себя я несколько раз повторил: «Да, мы запишем это на ваш счет». Я всегда думал, что такую фразу могут произносить лишь взрослые. Я часто повторял ее про себя, когда хотел почувствовать себя мужчиной, а не маленьким мальчиком. Наверное, я услышал

ее, когда ходил с отцом в лавки.

Остаток дня я строил планы, как бы приобрести лошадь и двуколку.

Отходя от меня, доктор Робертсон обратился к Папаше:

– Как вы сегодня себе чувствуете, Папаша?

– Знаете, доктор, я как будто весь песком забит. Думаю, надо меня промыть. Как считаете, поможет мне порция слабительного?

– Думаю, да, – с серьезным видом сказал врач. – Я распоряджусь, чтобы вам его дали.

Доктор пересек палату и остановился у постели пьяницы. Тот сидел и ждал его. Рот его слегка подергивался, на лице застыло выражение тревоги.

– А вы как себя чувствуете? – сухо поинтересовался доктор.

– Меня еще немного трясет, – ответил пьяный, – но в целом неплохо. Думаю, доктор, меня сегодня уже можно выписывать.

– Мне кажется, у вас в голове еще не совсем прояснилось, Смит. Разве не вы сегодня утром расхаживали по палате совершенно голым?

Больной ошеломленно посмотрел на него и поспешил объяснить:

– Да, верно. Это был я. Я встал, чтобы помыть ноги. Моим ногам было ужасно жарко, как будто их огнем жгло.

– Может быть, завтра, – коротко подытожил доктор. – Возможно, вас выпишут завтра.

Доктор отошел быстрым шагом, а больной наклонился вперед и начал тереть пальцами белье. Потом он вдруг лег.

– О Господи! – застонал он. – О Господи!

После того как доктор Робертсон покинул палату, моей матери, дожидавшейся в коридоре, разрешили зайти и поведать меня. Пока она шла к моей постели, меня охватило смущение, и я застеснялся. Я знал, что она меня поцелует, а мне это казалось ребячеством. Отец меня никогда не целовал.

– Мужчины не целуются, – говорил он мне.

Проявления чувств я воспринимал как признак слабости. В то же время, если бы мать меня не поцеловала, я бы расстроился.

Я не видел ее несколько недель, и она показалась мне незнакомкой. Ее улыбка, ее приятный облик, светлые волосы, собранные в низкий пучок у самой шеи, – все это было так знакомо, что я никогда раньше этого не замечал. Сейчас я смотрел на нее, с удовольствием подмечая все эти детали.

Ее мать была ирландкой из Типперари, а отец – немцем. Этот добрый, мягкий человек приехал в Австралию вместе с немецким музыкальным ансамблем, в котором он играл на фаготе.

Должно быть, она была похожа на своего отца. У нее были такие же светлые волосы, такая же приятная наружность и такое же открытое лицо.

Частые поездки в открытой коляске в дождь и ветер оставили след на ее загрубевшей коже, не знавшей косметики, – не потому, что она не верила в ее силу, а потому, что ей вечно не хватало на это денег.

Подойдя к моей кровати, она, должно быть, заметила мое смущение и прошептала:

– Я бы хотела поцеловать тебя, но тут слишком много народу, так что давай считать, что я это сделала.

Когда меня навещал отец, разговор обычно вертелся вокруг него, хотя слушать он тоже умел, но с матерью я всегда начинал первым.

– Ты принесла побольше яиц? – спросил я. – Здесь есть один несчастный человек, у которого нет яиц. И знаешь, когда он смотрит на стул, тот двигается.

Проследив за моим взглядом (а я не отводил глаз от пьяницы, пока все это рассказывал), мать посмотрела на этого человека и сказала:

– Да, я принесла достаточно яиц. – Она потрогала свою сумку и сказала: – Я принесла тебе еще кое-что. – И она вынула перевязанный веревкой сверток в коричневой бумажной упаковке.

– Что это? – возбужденно прошептал я. – Дай посмотреть. Я сам открою. Ну дай же!

– Пожалуйста, – подсказала она, не давая мне сверток.

– Пожалуйста, – повторил я и протянул руку.

– Это передала тебе миссис Карразерс, – сказала мать. – Без тебя мы не стали открывать, но все сгорают от нетерпения узнать, что же там такое.

– Как она это передала? – спросил я, положив сверток себе на колено. – Она заходила к нам в дом?

– Она подъехала к передним воротам и вручила это Мэри, сказав, что это подарок для ее больного братика.

Я дернул за веревку, пытаюсь разорвать ее. Как и отец, я всегда кривился, когда напрягал пальцы. Он всегда корчил гримасы, открывая перочинный нож. («Это у меня от матери».)

– Господи! Что за мину ты скорчил! – сказала мама. – Дай-ка сюда, я разрежу. У тебя в тумбочке есть нож?

– У меня есть, – сказал наблюдавший за нами Ангус. – Где-то в передней части, по-моему. Просто откройте вон тот ящичек.

Мама нашла его нож, и когда она разрешила бечевку, я снял обертку, на которой красовалась внушительная надпись: «Господину Алану Маршаллу», и принялся с волнением рассматривать крышку плоского ящика, украшенную изображениями ветряных мельниц, тачек, фургонов, сделанных из просверленных металлических пластинок. Я поднял крышку и увидел сами пластинки, а рядом с ними в маленьких отделениях – винтики, отвертки, ключи и колесики. Я едва мог поверить, что все это – мое.

Игрушка была замечательная, но то, что ее подарила мне миссис Карразерс, казалось невероятным.

Не будет преувеличением сказать, что Туралла – это миссис Карразерс. Она построила местную пресвитерианскую церковь, воскресную школу, новое крыло дома пастора. Она жертвовала деньги на ежегодные школьные призы. Все фермеры были перед ней в долгу. Она была президентом «Отряда надежды», «Библейского общества» и «Лиги австралийских женщин». Ей принадлежали гора Туралла, озеро Туралла и все лучшие земли вдоль реки Туралла. В церкви у нее была отдельная мягкая скамья и особый молитвенник в кожаном переплете.

Миссис Карразерс знала все гимны и пела их, устремив взор к небу. Но гимны «Ближе, Господь, к тебе» и «Веди нас, ясный светоч» она пела альтом, опустив подбородок, и выглядела при этом очень сурово, потому что ей приходилось петь очень низким голосом.

Стоило священнику объявить эти гимны, как отец бормотал, уткнувшись в молитвенник: «Ну вот, сейчас заведет». Матери не нравилось, когда он так говорил.

– У нее весьма неплохой голос, – сказала она как-то в воскресенье за обедом.

– Голос-то хороший, – сказал отец, – кто бы спорил. Да только она всегда тащится в хвосте, а у финиша обходит всех нас на полкорпуса. Того и гляди, она выдохнется.

Мистер Карразерс давно умер, но, по словам отца, при жизни он вечно против чего-нибудь протестовал. Протестуя, он поднимал пухлую руку и откашливался, прочищая горло. Он протестовал против коров на дорогах и против дурных манер. А еще он протестовал против моего отца.

Отец мистера Карразерса, представитель английской фирмы, прибыл в Мельбурн в тысяча восемьсот тридцать седьмом году, а оттуда с караваном повозок, запряженных волами и нагруженных припасами, отправился на запад. Говорили, что в сотне с небольшим миль от города ждут заселения плодородные вулканические земли в богатом лесами краю, правда, туземцы там настроены весьма враждебно, а значит, с ними придется как-то разобраться. Для этого членам экспедиции раздали ружья.

Со временем мистер Карразерс стал владельцем сотен квадратных миль плодородной земли, теперь разделенных на десятки ферм, арендная плата с которых приносила немалый доход.

Со временем большой дом из голубоватого камня, который он построил на выбранном участке, унаследовал его сын, а когда тот умер, дом перешел к миссис Карразерс.

Вокруг огромного дома на тридцати акрах был разбит парк в английском стиле с аккуратными дорожками и строгими клумбами, за которыми тщательно ухаживал целый штат садовников.

В тени дубов и вязов, под привезенными из Англии кустами, что-то клевали, копошась в прошлогодней листве, фазаны, павлины и невиданные разноцветные утки из Китая. Среди них прогуливался мужчина в гетрах и с ружьем в руках. То и дело гремели выстрелы – это он стрелял в розелл и красных лори, прилетавших полакомиться фруктовыми плодами в саду.

Весной среди темной зелени австралийского папоротника цвели подснежники и нарциссы, а садовники катили нагруженные доверху тачки между штокрозами и флоксами. Они ударяли острыми лопатками по пучкам травы и кучам стеблей и листьев у подножия немногих уцелевших эвкалиптов, срезая оставшиеся дикие австралийские цветы; те падали, и их увозили на тачках, а потом сжигали.

И на этих тридцати акрах все было чистым, гладким и ухоженным.

– Туземцы не узнали бы теперь эти места, – заметил однажды отец, когда мы проезжали мимо ворот.

От ворот к дому вилась между рядами вязов покрытая гравием подъездная дорожка. У самых ворот приютился небольшой домик, где жил привратник с семьей. Заслышав цокот копыт или скрип колес экипажа, он торопливо выбежал из дома, открывал ворота и снимал шляпу, приветствуя гостей. Богатые землевладельцы в колясках, запряженных двойкой, горожане в рессорных экипажах, дамы с осиными талиями, церемонно восседавшие в фаэтонах, глядя поверх голов чопорных девочек и мальчиков, примостившихся на краю сиденья напротив, – все они проезжали мимо домика у ворот, кивая, покровительственно улыбаясь встречавшему их со шляпой в руке привратнику или и вовсе его не замечая.

На полпути по дороге располагался небольшой загон. Когда-то высокие эвкалипты вздымали свои голые ветви над кенгуровой травой и казуаринами, но теперь там отбрасывали тень темные сосны, и земля под ними была покрыта сухими иголками.

По загону, вдоль забора, по вытоптанной тропинке непрерывно бродил благородный олень. Иногда он поднимал голову и хрипло кричал, и болтливые сороки, затихнув, торопливо уносились прочь.

Напротив загона были выстроены конюшни – массивные, двухэтажные базальтовые постройки с чердаками и стойлами и кормушками, изготовленными из выдолбленных стволов деревьев. Перед конюшнями на вымощенной булыжником площадке конюхи, присвистывая на английский лад, чистили скребками лошадей, а те беспокойно перебирали ногами и помахивали подстриженными хвостами, тщетно пытаясь отогнать мух.

От конюшен к парадному входу хозяйского дома вела широкая дорога. Если из Мельбурна приезжал с визитом какой-нибудь сановник или английский джентльмен с дамой, желавшие повидать жизнь большого поместья и «настоящую Австралию», их экипажи останавливались у входа и, высадив пассажиров, ехали дальше по широкой дороге к конюшням.

В такие вечера чета Карразерс давала бал в поместье, а на поросшем папоротником холме позади особняка под несколькими уцелевшими акациями собирались самые дерзкие и смелые из обитателей Тураллы, чтобы поглазеть на огромные, ярко освещенные окна, за которыми дамы в платьях с глубоким вырезом и веерами в руках склонялись перед партнерами в первых па вальс-кадрили. До собравшихся на холме долетала музыка, и они уже не чувствовали

холода. Они слушали волшебную сказку.

Однажды в этой толпе оказался и мой отец; он держал в руках полупустую бутылку, и каждый раз, когда за освещенными окнами кончалась очередная фигура танца, он издавал веселый возглас, а потом, продолжая что-то выкрикивать, кружился вокруг акаций с бутылкой вместо дамы.

Некоторое время спустя из дома вышел, чтобы выяснить причину шума, тучный мужчина с золотой цепочкой для часов на шее, на которой висели оправленный в золото львиный коготь, миниатюрный портрет его матери и несколько медалей.

Он велел отцу уйти, но тот продолжал веселиться, и тогда мужчина замахнулся, чтобы ударить его. Объясняя потом, что произошло дальше, отец говорил так: «Я уклонился от удара, затем быстро схватил его и сыграл на его ребрах, как на ксилофоне. Он так охнул, что у меня чуть шляпу не сдуло».

Помогая мужчине подняться и смахивая пыль с его одежды, отец сказал:

– Я так и подумал: слишком много у вас побрякушек, наверное, вы не в форме.

– Да, – задумчиво ответил тот. – Слишком много... Да, да... Меня немного мутит...

– Выпейте. – Отец предложил ему свою бутылку. После того как мужчина выпил, они с отцом обменялись рукопожатиями.

– Славный был парень, – объяснял потом отец. – Просто связался не с той компанией.

Отец объезжал лошадей Карразерсов и дружил с главным конюхом, Питером Финли. Питер часто приходил к нам в гости, и они с отцом обсуждали статьи в «Бюллетене» и книги, которые прочли.

Питер Финли был эмигрантом, но жил на деньги, присылаемые родственниками из Англии. Он умел говорить на любую тему. Все Карразерсы красноречием не отличались. Они славились умом, но в основном благодаря тому, что знали, когда надо сказать: «Гм, да» или «Гм, нет».

Питер умел говорить быстро, увлекательно, и люди с удовольствием его слушали. Мистер Карразерс частенько замечал, что дар красноречия достался Питеру благодаря хорошему воспитанию, и очень сожалел, что он покатился по наклонной.

Питер придерживался другого мнения.

– Жизнь моего старика – сплошная церемония, – рассказывал он отцу. – Да еще какая! Я едва вырвался оттуда.

Мистеру Карразерсу было трудно развлекать важных гостей, которых он приглашал к себе в поместье. Проведенные с ними вечера были полны долгих, томительных пауз. На путешествующего сановника или титулованного англичанина редкие замечания вроде «Гм, да» или «Гм, нет» не производили впечатления, поэтому мистер Карразерс всегда посылал на конюшню за Питером, если его важные гости намеревались провести вечер за приятной беседой и бренди.

Получив сообщение от мистера Карразерса, Питер всегда направлялся в особняк, куда проникал через черный вход. В специально отведенной маленькой комнатке стояла кровать с шелковым покрывалом, а на ней был аккуратно сложен один из лучших костюмов мистера Карразерса. Облачившись в него, Питер являлся в гостиную, где его представляли как гостя из Англии.

За обедом его беседа восхищала гостей и давала мистеру Карразерсу возможность с умным видом произносить свои «Гм, да» и «Гм, нет».

После ухода гостей Питер снимал костюм мистера Карразерса и уходил обратно в свою комнату за конюшнями.

Однажды он пришел к отцу и сообщил, что мистер Карразерс хотел бы, чтобы отец продемонстрировал свое мастерство в верховой езде перед какими-то важными гостями, которые остановились в поместье и страстно желали увидеть кусочек «настоящей Австралии».

Поначалу отец и слышать об этом не хотел. «Да ну их к чертям», – сказал он, но потом решил, что согласится, если ему заплатят десять шиллингов.

– Десять шиллингов – приличная сумма, – рассудил он. – Такими деньгами швыряться не следует.

Питер счел, что мистера Карразерса такие условия вполне устроят, хотя сумма и показалась ему неоправданно высокой.

Отец не очень хорошо представлял себе, что такое «настоящая Австралия», хотя он сказал Питеру, что увидеть ее можно, заглянув к нему в кладовую. Иногда отец думал, что настоящая Австралия – это бедность, но так он считал, только когда ему было грустно.

В день, когда он должен был предстать перед Карразерсами, он повязал вокруг шеи красный платок, надел широкополую шляпу и оседлал гнедую кобылу по кличке Лихая Девчонка, которая начинала брыкаться, стоило коснуться каблуками ее боков.

Она была шестнадцати ладоней в высоту и прыгала не хуже кенгуру, и когда гости устроились на просторной веранде, попивая прохладительные напитки, отец галопом вылетел из-за деревьев, испуская оглушительные вопли, словно беглый каторжник.

– Значит, выезжаю я из-за поворота к жердевым воротам, – рассказывал он мне потом, – земля перед ними плотная, усыпана гравием, но опора есть. Я успокаиваю лошадку так, чтобы она шла ровным шагом, а потом направляю ее прямо. Я всегда говорю, что лошадь, выросшая на выгоне, наверняка себя оправдает. Я только что объездил Лихую Девчонку, она была свежа, как огурчик. Ну, конечно, она на препятствие идет слишком рано – неопытная ведь, – я вижу: сейчас зацепит. Ворота высоченные – под ними прямо пройти можно было. Конюхи боялись, что Карразерс кого-нибудь уволит, если поставит ворота пониже. С него бы и случилось. – Отец презрительно махнул рукой и продолжил: – Чувствую, Лихая Девчонка пошла вверх, и приподнимаюсь, чтобы уменьшить свой вес. Между мной и седлом можно было голову просунуть. Но меня беспокоят ее передние ноги. Если они перескочат, то все в порядке. Ну и прыгала же эта лошадь! Бог мне свидетель, она извернулась и поднялась еще дюйма на два в воздух. Все равно задними ногами задела ворота, но через два шага снова вошла в ритм, а я сижу в седле как ни в чем не бывало. Ставлю ее на дыбы перед верандой, как раз перед всей этой толпой гостей Карразерса, а они, едва не поперхнувшись грогом, вскакивают на ноги, опрокидывая стулья. Ну, а я вонзил каблуки в бока Лихой Девчонки, и она как метнется в сторону, как

завизжит, будто поросенок. Хотела прижать меня к дереву, вредная тварь. Я ее разворачиваю, хлопая шляпой по ребрам, а она боком прямо на веранду и давай лягаться; как взмахнет копытами, так и опрокинет то стул, то стол. Кругом летят стаканы с грогом, женщины кричат, мужчины подсакивают, а некоторые с геройским видом заслоняют собой дам, те за них цепляются – ну, словом, корабль идет ко дну, спасайся кто может, Боже, короля храни, и тому подобное! Черт возьми, вот комедия!

Тут отец расхохотался и, не в силах остановиться, досмеялся до того, что пришлось вытирать платком выступившие на глазах слезы.

– Ох, черт побери! – выдохнул он и заключил: – Прежде чем мне удалось утихомирить лошадь, я сбил с ног сэра Фредерика Солсбери, или как там его, и он рухнул головой прямо в стаю павлинов.

– Это все было на самом деле, папа? – как-то спросил я. – Это правда?

– Черт подери, да... Хотя постой... – Он наморщил лоб и потер рукой подбородок. – Нет, сынок, наверное, не совсем правда, – решил он. – Было что-то подобное, но когда многократно рассказываешь какую-нибудь историю, с каждым разом начинаешь ее улучшать, делаешь ее смешнее, понимаешь? Я не вру. Просто рассказываю смешную историю. Здорово, когда удается повеселить людей. На свете и так много всего такого, что наводит тоску.

– Это как история про оленя? – спросил я.

– Ну да, – сказал он. – Вроде того. Я ездил на нем верхом, вот и все.

Мистер Карразерс как раз потому и протестовал против отца, что отец ездил верхом на его олене.

– Он все ходил и ходил кругами, бедняга... – рассказывал отец. – Я был в тех местах с парнями, и вот однажды я залез на забор, и, когда олень проходил подо мной, я как прыгну ему на спину. Ребята, конечно, говорили, что я не сдюжу. – Он умолк, рассеянно уставился вдаль, потер подбородок и, слегка улыбнувшись, добавил: «Вот черт!» тоном, который не оставлял сомнений в том, как отнесся ко всему этому олень.

Рассказывая об этой проделке, отец не описывал ее подробно, очевидно, потому что считал ее ребячеством. На мой вопрос: «А олень побежал?» он лишь коротко отвечал: «Да еще как!»

Но я спросил об этом Питера Финли, полагая, что отец не любит вспоминать ту историю, потому что олень его сбросил.

- Олень задал отцу трепку? - спросил я Питера.

- Нет, - ответил тот. - Это твой отец задал трепку оленю.

Позже кто-то рассказал мне, что в сражении с моим отцом олень сломал рог. Именно поэтому мистер Карразерс так рассвирепел: олени рога ему нужны были целыми, чтобы украсить ими стену над камином.

После смерти мистера Карразерса его жена избавилась от оленя, но когда я был уже достаточно взрослым, чтобы втайне проникать на территорию поместья, там все еще виднелась вытоптанная в земле глубокая тропа, по которой он ходил кругами.

Именно поэтому, а также потому, что у всех в Туралле - за исключением отца - миссис Карразерс вызывала трепет, я смотрел на лежавший передо мной на кровати ящик с почти суеверным почтением. Он казался мне дороже любого подарка, который я когда-либо получал. Я ценил его не потому, что он мог развлечь меня, - коробка из-под свечей на колесиках больше пришлась бы мне по душе, - а потому что он свидетельствовал о том, что миссис Карразерс знает о моем существовании и считает меня достаточно важным человеком, чтобы купить мне подарок.

Никто в Туралле никогда не получал подарков от миссис Карразерс - только я. А ведь у нее была коляска с резиновыми шинами, и пара серых лошадей, и павлины, и миллионы фунтов стерлингов.

- Мама, - сказал я, глядя на нее и по-прежнему не выпуская ящика из рук, - когда миссис Карразерс передавала Мэри подарок, та до нее дотронулась?

Глава шестая

На следующее утро мне не дали завтрака, но я был не особенно голоден. Меня охватило волнение, тревога, а иногда накатывали приступы страха, во время которых мне очень хотелось, чтобы рядом была мама.

В десять тридцать сиделка Конрад подкатила к моей постели каталку, напоминавшую узкий стол на колесиках.

– Давай-ка, садись. Я тебя покатаю. – Она откинула мое одеяло.

– Я сам, – сказал я. – Я сам.

– Нет, я тебя подниму, – возразила она. – Разве ты не хочешь, чтобы я тебя обняла?

Я бросил быстрый взгляд в сторону Ангуса и Мика, чтобы проверить, слышали ли они ее слова.

– Ну же, – подзадорил меня Мик. – Другого такого милovidного барашка-подманка тебе вовек не сыскать. Действуй.

Она подняла меня и несколько секунд подержала, улыбаясь мне.

– Я ведь не барашек-подманок, правда?

– Нет, – ответил я, не зная, что подманком называли барана-предателя, обученного отводить на скотобойню приготовленных на убой овец.

Она положила меня на холодную, ровную поверхность каталки и накрыла одеялом.

– Ну, поехали! – весело сказала она.

– Не вешай нос, – подбодрил меня Ангус. – Скоро ты к нам вернешься.

– Да, он проснется уже в своей теплой кровати, – сказала сиделка Конрад.

– Удачи! – крикнул мне Мик.

Пьяница приподнялся на локте и, когда мы проезжали мимо его кровати, хрипло сказал:

– Спасибо за яйца, дружище. – А потом добавил погромче: – Молодчина!

Сиделка Конрад покатила меня по длинному коридору и через стеклянные двери ввезла в операционную, в центре которой стоял высокий стол на тонких белых ножках.

Возле скамейки, покрытой белой тканью, на которой были разложены металлические инструменты, стояли сестра Купер и еще одна сиделка.

– Ну, вот и ты! – воскликнула сестра и, подойдя ко мне, погладила меня по голове.

Я посмотрел ей в глаза, ища в них ободрения.

– Боишься? – спросила она.

– Да.

– Глупышка. Чего тут бояться? Через минуту заснешь, а потом проснешься уже в своей кровати.

Я не понимал, как такое возможно. Я был уверен, что как только меня начнут перекладывать с одного места в другое, любой сон как ветром сдует. Мне казалось, что все это они говорят лишь для того, чтобы обмануть меня, и я вовсе не проснусь у себя в кровати, а на самом деле вот-вот случится что-то страшное. Но я очень доверял сиделке Конрад.

– Я не боюсь, – сказал я сестре.

– Я знаю, – доверительно сказала она, положила меня на стол и поместила мне под голову небольшую подушку. – Теперь не двигайся, а то свалишься.

В это время в операционную быстрым шагом вошел доктор Робертсон. Массируя себе пальцы, он стоял надо мной и улыбался.

– «Брысь, брысь, черный кот», ты ведь эту песенку поешь? – Он похлопал меня по плечу и отвернулся. – Коляски и черные кошки, эх! – бормотал он, пока подошедшая сестра помогала ему надеть белый халат. – Коляски и черные кошки! Ну-ну!

Вошел доктор Кларк, седоволосый мужчина с тонкогубым ртом.

– Муниципалитет так и не засыпал ту яму у ворот, – сказал он, повернувшись к сиделке, которая подала ему халат. – Не знаю... Неужели теперь уже никому верить нельзя? Что-то халат, по-моему, мне великоват... А, нет, это мой, все правильно.

Я смотрел на белый потолок и думал о луже возле наших ворот, которая всегда появлялась там после дождя. Я с легкостью мог через нее перепрыгнуть, а вот Мэри не могла. Я мог перепрыгнуть через любую лужу.

Доктор Кларк отошел к моему изголовью и стоял там, держа у меня перед носом белую подушечку, похожую на ракушку.

По знаку доктора Робертсона он пропитал подушечку жидкостью из синей бутылочки, и, сделав вдох, я едва не задохнулся. Я вертел головой из стороны в сторону, но он водил подушечкой вслед за моим носом, и перед глазами у меня вспыхнули разноцветные огни, потом сгустились тучи, и, окутанный ими, я поплыл неведомо куда.

Проснулся я не в своей постели, как обещали сестра Купер и сиделка Конрад. Я пытался пробиться сквозь туман, а мир вокруг меня кружился, и я не понимал, где я, до тех пор, пока в какой-то момент не увидел вдруг потолок все той же операционной. Спустя какое-то время я разглядел лицо сестры. Она что-то говорила мне, но я ее не слышал. Однако через минуту мне и это удалось.

- Проснись, - говорила она.

Некоторое время полежав в тишине, я все вспомнил и почувствовал себя обманутым.

- Я не у себя в кровати, как вы обещали, - пробормотал я.

- Видишь ли, ты проснулся раньше, чем мы смогли тебя туда перевезти, - объяснила она и добавила: - Сейчас ты ничуть не должен двигаться. Гипс у тебя на ноге еще не высох.

Я ощутил тяжесть в ноге и каменную хватку гипса на бедрах и талии.

- Лежи тихо, - сказала сестра. - Я отойду на минутку. Присмотрите за ним, сиделка, - обратилась она к сиделке Конрад - та убирала инструменты в стеклянные футляры.

Сиделка Конрад подошла ко мне.

- Как себя чувствует мой мальчик? - спросила она.

Ее лицо показалось мне невероятно красивым. Я любил ее пухлые, румяные, словно яблоки, щеки и блестящие маленькие глаза в обрамлении длинных ресниц, весело глядевшие из-под густых темных бровей. Я хотел, чтобы она осталась со мной и никуда не уходила, и я хотел подарить ей лошадь и двуколку. Но меня мутило, я смущался и не осмеливался всего этого ей сказать.

- Не двигайся, ладно? - предостерегла она меня.

- Кажется, я немного пошевелил пальцами, - сказал я.

Оттого, что все запрещали мне двигаться, мне захотелось пошевелиться, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я чувствовал, что мне обязательно нужно проверить, могу ли я двигаться, а удостоверившись, я уже буду лежать спокойно.

- Нельзя шевелить даже пальцами, - сказала она.

– Я больше не буду, – пообещал я.

Меня продержали на операционном столе до обеда, затем осторожно перевезли в палату и переложили на кровать, где была установлена стальная рама, поддерживавшая одеяло высоко над моими ногами и загоразживавшая Мика, который лежал в другом конце палаты.

Сегодня был день посещений, и вскоре начали прибывать родственники и друзья больных, нагруженные пакетами и свертками. Смущенные присутствием стольких больных, они торопливо протискивались между кроватями, не глядя по сторонам и не отрывая взгляда от того, к кому пришли. Последние тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Они отводили глаза, делая вид, что не видят своих посетителей, пока те не оказывались прямо у их кровати.

Больные, у которых не было друзей или родных, тоже не могли пожаловаться на недостаток внимания. С ними обычно беседовали девушка из Армии спасения, священник или проповедник – ну, и конечно, неизменная мисс Форбс.

Мисс Форбс приходила в каждый день посещений с охапкой цветов, религиозных брошюр и толстых шерстяных носков. На вид ей было лет семьдесят. Она ходила с трудом, опираясь на палку, и всегда постукивала этой палкой по спинке кровати тех больных, кто не обращал на нее внимания.

– Ну-с, молодой человек, – говорила она, – надеюсь, вы выполняете предписания доктора. Только так можно выздороветь, знаете ли. Вот вам пирожки с коринкой[4 - Т.е. изюмом.]. Если будете хорошо жевать, несварения у вас не случится. Пищу всегда нужно тщательно пережевывать.

Мне она каждый раз приносила леденец.

– Они прочищают грудь, – объясняла она.

Сегодня она, как обычно, остановилась в изножье моей кровати и мягко сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Буш – обширные малонаселенные земли в Австралии, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями.

2

Нагнет – воспалительный процесс в области холки у лошадей, возникающий из-за плохо пригнанной сбруи или неправильной посадки при езде.

3

Водяная собака – порода охотничьих собак.

4

Т.е. изюмом.

Купить: https://tellnovel.com/ru/marshall_alan/ya-umeyu-prygat-cherez-luzhi

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)